Б 393/49

ДР. Ф. М. ОРЛОВ-СКОМОРОВСКИЙ

из цикла

К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

КНИГА ВТОРАЯ

ЛОЖЬ ОТЦОВ

426/1-3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ИЗ ЦИКЛА
К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

КНИГА ВТОРАЯ

ЛОЖЬ ОТЦОВ

Доктора
Ф. М. Орлова-Скоморовского

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1923 ПЕТРОГРАД

Гиз. № 3531. Главлит. № 5101. Москва. Напечат. 5.000 экз.
„Мосполиграф". 1-я Образцовая типография, Пятницкая 71.

ПРЕДИСЛОВИЕ

За время, протекшее после окончания первого моего труда «Голгофа ребенка», я изменил свое первоначальное намерение и решил издать весь свой труд «К человечеству» не в форме трилогии, а в виде серии отдельных произведений.

В соответствии с этим изменением весь труд будет называться не «Трилогией», а «Циклом произведений» и состоять он будет не из частей, а из отдельных книг, первой из которых является «Голгофа ребенка», второй—«Ложь отцов», третьей—Любовь «платоническая».

К такому изменению меня побудили следующие соображения. Материал, собранный мною для задуманного произведения, так обширен, что уложить его в рамки «Трилогии» было бы технически затруднительно, а части вторая и третья, соответственно первоначальному замыслу, «Одиссея интеллигента» и «Распятие личности», вышли бы черезчур громоздкими, объемистыми и запутанными. Таким образом предпочтительной оказалась форма вышеизложенная.

Всех книг этого цикла будет шесть или семь. В остальном касательно содержания ничего изменено не будет, и все написанное в предисловии к первой моей книге «Голгофа ребенка» сохраняет свою силу по отношению ко всему циклу.

В этой второй книге из цикла я имею в виду вскрыть корни и самую почву того болота, из которого выростало современное поколение интеллигенции, обнажить ту зловонную клоаку, от которой заражалось оно. Эта сплошная вонючая ложь в самой конструкции быта, традиций и нравов прежнего поколения могла дать только гнилые отпрыски. Ничего вымышленного в моем произведении, никакого шаржа в ходе повествования нет.

Я остановился в первой своей книге на описании своей жизни с достижением шестнадцатилетнего возраста.

Дальше буду говорить от лица гимназиста шестого класса бывшей царской гимназии и описывать события с точек зрения разумения и восприятия, соответствовавших тогдашнему моему возрасту.

Еще одна оговорка: проверяя даты в первой своей книге уже после того, как она была сдана в печать, я заметил досадную ошибку в своем повествовании, ошибку на целых полгода. Теперь, во избежание недоразумений, считаю долгом объявить о ней: сифилитическая катастрофа произошла со мной в пятнадцати с половиной-летнем возрасте, а не в пятнадцатилетнем, как было мною указано.

Ноябрь 1920 г.
Г. Владимир.
Никольская, 13.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Мне шестнадцать лет. На земле—последняя четверть 1905 года. Серая слякотная осень. Пора унылая. Только что похоронили третью жену отца. И опять, как после смерти двух первых жен, стало сиротливо, безалаберно, бестолково. Зажили в большой квартире за городом, в одиноко стоящем вдали от других доме, близ дороги, ведущей к казармам одного из местных пехотных полков. Слева от дома—губернская тюрьма, безобразным, мрачным, точно приплюснутым кубом вросла между порыжелым полем, окаймленная приземистой кирпичной оградой. Справа, шагах в полутораста—кладбище, обведенное старым полусгнившим деревянным забором. Впереди, в полуверсте, раскинулся некрасивый польский губернский город S., в который мы недавно переехали: видны политые дождем ребра каменных серых домов, ближайший из которых, «Народный дом», только еще достраивается. Цедит, как сквозь сито, частый бесконечный дождь. В комнатах уныло. Тринадцатилетний Всеволод, девятилетний Адриан и я уже начали посещать гимназию, после похорон. Новые сироты,—шестилетний Диомид и четырехлетняя Татьяна снуют из комнаты в комнату, притихшие, запуганные и уже в душе разбирающиеся в том, что произошла непоправимо ужасная утрата, и дом перестал функционировать попрежнему. Отец, ошеломленный новым семейным ударом, был некоторое время убитым, упорно молчал, иногда принимался ласкать маленьких сирот, но это у него как-то не выходило; потом он как бы очнулся и попробовал было окунуться в службу, но стихия на этот раз (губернское правление) оказалась мелкой,—все-таки оставался досуг, который он стал расходовать на следующее занятие. После обеда он уходил из дому и начинал бродить по пустырям, окружавшим город, а то уходил подальше, к пригородным усадьбам, всюду выискивая себе или место для постройки собственного дома, или землю под устройство хозяйственной фермы. В доме опять появились бонны, увеличился штат прислуги, домашнее хозяйство пошло кое-как, а попечение о сиротах в чужих, неумелых руках только по виду казалось сносным.

Мою душу сплющила тягостная печаль, и вместе с тем зародилось в ней ясно ощутимое мной озлобление против судьбы. Полтора года тому назад меня страшно истязал своими побоями отец; год тому назад нервы мои находились под непрерывным давлением воспитатель-

ного гнета Дорогова; три месяца тому назад я заболел этим страшным сифилисом; теперь, смерть второй мачехи. Я весь осунулся, ушел в себя, начал все время дрожать, как будто от непрерывного мороза во всем теле. Все начало пугать меня,—и ветер, и мерцание огоньков по вечерам на могилах, которые видны были в окно моей комнаты, и крик детей, и даже вид быстро идущих мимо меня людей. Новой, уже четвертой по счету, гимназией я стал интересоваться мало,—все было в ней устроено по хорошо мне знакомому образцу: так же по казенному скроены педагоги, как и их трафаретные синие сюртуки, те же беспорядочные толпы гимназистов на переменах и принужденно-послушный их вид на уроках; только покрой костюма на учениках был здесь серый, и я представлял на этом арестанском фоне какую-то черную ворону из себя, залетевшую в чужую стаю. Я сильно похудел, стал очень бледен, постоянно начал чувствовать головную боль, становившуюся по временам нестерпимой, а душа моя все больше сжималась, и я чувствовал себя забитым, загнанным и запуганным существом. Город был для меня чужой, да и вообще у меня все время не было родного города, так как мы непрерывно только переезжали с место на место.

Товарищей не было: с братом Всеволодом мы как-то не сходились и даже не любили оставаться вдвоем, несмотря на то, что были братьями единокровными и единоутробными. Эта странность в отношениях продолжалась и впредь и служила источником многих горьких переживаний впоследствии.

Мы оба потом, став взрослыми, доискивались причины, почему мы постоянно ссоримся, говорим друг другу колкости, стараемся разобщиться, не видеть друг друга, несмотря на ясно чувствуемую обоими взаимную любовь. Только спустя много лет я эту причину открыл и скажу о ней в последующем изложении.

Умершая мачеха была для меня самым близким человеком, знавшим мое горе и умевшим меня утешать. Теперь я стал совсем одиноким, а горе с удвоенной силой стало грызть внутри. Приходя из гимназии и пообедав, я уходил в свою комнату, ложился на постель и, закинув руки за голову, отдавался своим горьким думам. Отец уходил на свои поиски; Всеволод убегал в город гулять с новыми товарищами; маленький Адриан садился за приготовление своих приготовительно-классных уроков (это занятие плохо спорилось у него). Маленькие новые сиротки как-то сразу после смерти своей матери перестали ладить, стали проявлять какой-то взаимный антагонизм и часто бранились: брат обижал сестру, после чего они разбегались в разные стороны и начинали отдельно друг от друга играть, каждый своими игрушками. Бонна с шитьем в руках садилась где-нибудь вдали от детей и мурлыкала себе под нос какую-нибудь немецкую песенку; прочая прислуга пряталась в кухне. Тихо начинали ползти по воздуху сумерки, а в голове моей также непрерывно ползли горькие мысли. Я думал о доброй женщине, последние годы заменявшей мне мать,

и с ужасом представлял себе, как вот тут, за стеной дома, под землей, обливаемой осенним дождем, барабанящим о мое стекло, гниет пухлое, ставшее для меня таким родным ее тело, разлагается, тлеет, расползается. И впервые тогда мысль о смерти во всей своей грандиозной фатальности встала в свой гигантский рост перед моим еще не окрепшим сознанием, навалилась на мою психику и стала беспощадно давить. Я был безоружным, я был одиноким, и защищаться, даже обороняться не мог, а она наседала. Рядом с этой мыслью жалила другая,—это грозный вопрос, что будет с моим зараженным телом. Врачи, к которым я обращался за утешением, говорили мне, что нужно упорно лечиться, а там видно будет, а на вопросы о том, буду ли я когда-нибудь здоровым, отвечали уклончиво, пожимали плечами, и я уходил от них, унося нерастворившийся осадок горькой безысходной муки. Вот уже я начал второй после Варшавской больницы курс лечения ртутными втираниями, и чувствовал себя от раздражавшего прилипания белья к липкому грязному телу еще хуже. Мой молодой, совсем слабый организм, подорванный в недавнем прошлом от нечеловеческих истязаний воспитательного характера, очевидно, туго справлялся со страшной заразой, хотя внешних признаков не обнаруживалось никаких, а сама по себе ртуть действовала на меня убийственно. Появилось худосочие, мерзкое слюнотечение; от гадкого непрерывного металлического вкуса во рту я никак не мог отделаться.

Теперь, лежа на постели, я безвольно отдавался душившему меня второму призраку.

«Что же это? — спрашивал я сам себя,—не начинаю ли я уже гнить изнутри? Почему мне так больно в груди, почему так знобит меня, а жара нет?»...

В детской закричал Диомид. Я очнулся, раскрыл глаза. Темно-серая темнота полилась на мои влажные от слез глаза; тусклым четырехугольником выделялось окно с черным рамочным крестом посередине.

«Крест»,—прорезала сознание мысль, и я задрожал.

— Это—окно,—лениво ответил трезвый рассудок.

В детской притихли. Веки мои опять закрылись, но зловещий крест продолжал пугать. «Страшно мне, ведь нужно кому-нибудь все сказать, что меня так мучит сейчас, но кому? Нет мамы, папа чужой, Воля какой-то бессердечный, дикий, а те все—маленькие. Что с ними будет, кто их воспитает? И все мы друг другу чужие. Вот даже маленький Дима не любит Таню, бьет ее, гонит от себя прочь. Какой же у нас дом? Как скучно мне в нем! И как я страдаю, я совсем одинок и подавлен. Что делать?

— Федя, можно к тебе?—слышу робкий шопоток Адриана из коридора. Спускаю ноги на пол, сажусь.—Что тебе, Адичка?

— У тебя не горит лампа; помоги мне, я не умею решить задачу,—говорит он нерешительно.

— Сейчас, пойди в столовую, я приду к тебе.

Тот медленно удаляется. Встаю на ноги и чуть не падаю от головокружения. Прохожу темный коридор, гостиную, боязливо вглядываясь мимоходом в одно из окон, с видом на кладбище.

— Огонек у нее,—с ужасом отскакиваю. Темноты боюсь. Всюду в углах кажется мне смерть, в виде скелета с косой на плече.

Спешу, спотыкаюсь в темноте о ковры. Но вот свет от лампы вдали. Ступаю бодрее. Вхожу в светлую безмолвную столовую и присаживаюсь к Адриану.

— Ну, что у тебя не выходит?

— Вот тут,—и он показывает мне своим коротким пальцем на жирный номер задачи, с кляксой посередине.

Задача сама по себе простенькая, и решение ее было бы ему под силу, но хитро подтасованные слова в условии способны сбить с толку не только его слабенький, девятилетний мозг. Ласково разъясняю ему недоразумение, глажу его по головке.

— А вот, еще учитель велел принести подпись,—говорит он мне нерешительно, каким-то боязливым голосом.

— Какую подпись?—спрашиваю.

Тот соскакивает со стула, сует руку в ранец, вынимает тетрадку и подает мне.

«Знакомая штучка», ехидно подумал я—и быстро разворачиваю журнальчик. Вижу две двойки и замечание о невнимании на уроках.

Ребенок робко жмется к моему плечу.

— Я боюсь, Федя, папа побьет меня,—говорит он.

В глазах моих зарябило, машинально спрашиваю:

— А ты почем знаешь, что побьет?

— Прошлый раз чуть не побил меня,—тогда мама меня увела, а папа крикнул, что побьет другой раз, если будут двойки.

«Так, старая история», думал я.

И мне вдруг стало нестерпимо жаль одинокого малютку. Сразу намокли мои глаза. Я обнял его и сказал ему, целуя:

— Тебя не будут бить, не бойся; переписывай спокойно задачу и иди играть с братцами, а журнал я возьму к себе и сам отдам твоему учителю.

Тот повеселел, а я пошел в детскую.

— фИдя! фИдя! Где мама?—подбегает ко мне с вопросом сестренка.

Мальчик орет:

— Она у меня солдатика взяла! Скажи ей, Федя, чтобы отдала назад.

— Неправда, это мой солдатик!—бойко защищается она.

— Ну, ладно,—говорю я, схватывая ручку сестренки, увлекаю ее к кроватке, на которую сажусь.

— Иди и ты, Дима, сюда!

И тот нехотя повинуется. Я усаживаю одного на одно, другого на другое свое колено и, обняв их, обоим говорю:

— Нельзя ссориться, вы брат и сестра; нужно любить друг друга, нужно всегда вместе играть, а то мама там на небе рассердится на вас. Слышите?

— А где наша мама?—не отстает от своего сестренка.

— Она там, на небе, ее взял боженька, но она всегда с вами; когда вы спите, она приходит к вашим кроваткам и целует вас, когда вы послушны; и сегодня придет, поцелует, если будете дружно играть. Адя, ты скоро?—Вот вы втроем поиграете.

Они присмирели и побрели вместе в уголок к игрушкам, а я ухожу к себе, унося в душе смутную неловкость от только что говоренной мною лжи.

«А как бы я мог им ответить?»—успокоительно шепчет рассудок. Зажигаю у себя лампу. Груда учебников на столе.—«Ах, да,—латинский перевод на завтра»,—нехотя берусь за него, в душе как будто радуюсь, что есть возможность отвлечься от гнетущих мыслей. За окном все тот же ужас смерти и монотонный шум дождя.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Утром в гимназию я шел всегда утомленный и с больной головой. На молитву часто опаздывал, а если поспевал на нее, то стоял молча, ежась от оглушительного рева хором беспорядочно отпеваемого «Верую», а после, более гармонично, и даже с сосредоточенностью в лицах при этом,—«Отче наш». Учеников было сравнительно немного: бо́льшая часть их, польские ученики, ушли после своей прошлогодней национальной забастовки. Оставались одни православные и небольшое число лютеран и евреев. Все это были сыновья местных чиновников, офицеров и торговцев. Особенных зверей среди педагогического состава здесь не было. Были чиновники двадцатого числа, формалисты, задавальщики «отсюда досюда» и регистраторы отметок.

Вскоре после меня в нашем классе появилась вторая черная ворона, т.-е. ученик, одетый в черную форму. Это был переведенный из какой-то южной губернии малоросс Ивицкий, родственник нашего гимназического врача, Прядкова. Сперва, вероятно, одинаковость покроя и положение новичков сблизило меня с ним, а потом мне стало нравиться в нем явно обнаруживаемое им чувство независимости, серьезность и художественное дарование: он стал прекрасно набрасывать карикатуры на педагогов и приводил этим в восхищение весь класс; кроме того, недурно рисовал пейзажи.

Уныло ползли уроки, чередуясь с переменами, на которых серые фигуры начинали поднимать возню, крик, гам, драку, и от всего этого стояла в воздухе густая пыль, такая же серая, как арестантский покрой на учениках. Меня дичились, а я сторонился от них, издали наблюдал драку, картежную игру, тут же на партах, игры в подзатыльники и щелчки. Потом ходил по коридору, обходил копошившуюся мелюзгу, изредка отыскивал в толпе своего маленького братца и, если на него чересчур наседали, давал острастку шалунам и шел дальше по коридору нижнего этажа, где находились седьмой и восьмой классы. Тут рослые, по большей части усатые, сильные и коренастые парни голосили во все горло мне незнакомые песни, а вдали от них поменьше ростом приземистые человечки сидели на партах, обхватив свои головы с боков, и, очевидно, зубрили уроки. Усачи искоса разглядывали меня и как бы приглашали своим взором принять участие в хоре, но я чувствовал потребность в одиночестве и, побродив немного мимо их классов, поднимался наверх и по большей части входил в свой класс одновременно с очередным педагогом. Как-то вернулся я задолго до звонка и удивился: в классе—какая-то необычная тишина; все столпились вокруг кафедры. Кто-то говорит в центре:

— Вот она, вы видите, это я сам ее выкупил в книжной лавке Абрамсона; вот тут и фамилия была, но зачеркнута, хотя и можно прочесть «Шатохин».

Стоящий в центре поднял руку с каким-то учебником.

— Я допрашивал Абрамсона, он признался, что Нежин ему третьего дня продал эту книгу за 50 коп.

Сбоку у доски стоял небольшого роста черненький гимназист, с заечьеподобным лицом, сын местного председателя съезда мировых судей, Нежин, слывший в классе под кличкой «Штоба». Носил он эту кличку за то, что когда отвечал урок по геометрии, то, стоя у доски и чертя мелом фигуру, неизменно начинал так:

«Штоба доказать эту теорему»...

После такого вступления класс неизменно начинал хохотать, а за юрким мальчиком так и закрепилось это название «Штоба».

Теперь он стоял весь красный, глаза были влажные, он шевелил ртом и жался к пыльной доске, и без того весь измазанный, как всегда, мелом.

— Ну, признавайся, Штоба, ты украл книгу?—в один голос кричали стоявшие ближе к кафедре.

— Нет, я не продавал и не брал,—отвечал уличаемый, волнуясь и еще больше краснея.

— Врешь, а на какие деньги ты играл вчера на биллиарде?—вопрошает взрослый ученик.

— Это были мои деньги, от родителей получил.

— Ну, что ты скажешь, Шатохин?—обращается стоящий на кафедре к скромному юноше, Шатохину, стоящему слева.

Тот разъясняет, что книга, физика Краевича, исчезла у него из-под парты позавчера, что это его книга, которая сейчас лежит на кафедре.

— Ну, господа, дело ясное, заявляет председательствующий,—ты подло поступил, Нежин; Шатохин бедный, он сирота, зарабатывает себе пропитание уроками, а книга ценная, ему трудно было ее купить, а ты ее украл и продал, да еще нагло отпираешься! Я предлагаю объявить его вором.

Наступила тишина.

— Признавайся, Штоба!—закричали опять впереди стоявшие.

— Нет, я не крал,—глухим голосом произносит Нежин.

— Ах, ты так!—вскрикивает председатель,—ну так, господа, мы изгоним его из своей среды; я предлагаю обо всем донести директору и довести до сведения родителей Нежина, а ему перестанем подавать руку! Кто согласен с моим предложеинем?

Но тут Штоба не выдержал. Он медленно поднимается на кафедру. На лице его видно только наполовину сломленное упорство Дрожащим голосом он произносит:

— Простите. Не позорьте меня! Я признаюсь. Поступил дурно. Я заплачу за выкуп книги. Прости, Шатохин!

Тут собрание расстроилось вследствие прихода очередного педагога.

Нежину простили. Все было забыто.

На большой перемене мы часто ходили с Ивицким гулять по городу. Сначала обыкновенно прохаживались по небольшой площадке в центре города, обсаженной деревьями и носившей название «блюдечко». Тут на большой перемене, и особенно по вечерам, разгуливали гимназистки и гимназисты. Парами, группами, короткими цепями ползли непрерывной вереницей, толкаясь, смеясь, жестикулируя, сотни барышен и учеников. Мы обыкновенно с Ивицким наблюдали это снование взад и вперед с тротуара. Мне как-то претило такое времяпровождение, и, кроме того, я дичился молодежи, чувствуя постоянно, что я грязный, зачумленный и не должен быть со всеми. Раза два ко мне с «блюдечка» на тротуар переходили посланники с предложением перейти и познакомиться с какими-то барышнями. Я отказывался, а в душе чувствовал новую, неведомую мне до этого тревогу: начинало биться сердце, я краснел, смущение, будто пеленой, обволакивало мое сознание. Но я не шел знакомиться. Ведь я был зачумленный.

В одну из таких прогулок я заметил опередившую нас группу гимназистов-усачей; они быстро обогнали нас и свернули тут же в ворота.

— Хотите взглянуть на биллиардную игру?—спрашивает Ивицкий.

— А где, разве туда можно?—недоумеваю.

— Почему же, задним ходом, вот в ворота, куда вот те прошли.

Идем и мы. Через вонючий двор проходим в сени, оттуда через большую кухню, где пахнет очень вкусно; повара в белых халатах и колпаках, быстро работая у печи и у громадных столов, устланных сковородами, провожают нас насмешливыми словечками на польском языке. Еще какая-то полутемная проходная комната, и мы вступаем в просторное помещение, с двумя биллиардными столами посередине, вокруг которых, с киями в руках и без таковых, топчется человек пятнадцать учеников разного возраста. Воздух сперт и заволочен дымными табачными хлопьями; щелкают костяные шары, слышится непрерывная площадная ругань; серебряная монета со звоном ударяется и рассыпается по зеленому сукну столов. Справа, у окна, за столиком, пьют водку два восьмиклассника, с которыми я еще не знаком, но знаю уже, что одного зовут «Ген», а другого—«Омега». Пьют, ничем не закусывая, равнодушно, не спеша.

Прямо пред собою вижу дверь, которую робко отворяет изредка какой-то мужчина в потертом фраке. Он отворачивает портьеру, за которой слышится громкий лязг тоже биллиардных шаров и взрывы смеха, но он быстро захлопывает за собою дверь, и опять воцаряется только один шум, в той комнате, где я стою.

— Это—задняя биллиардная, а там большая, с тремя столами, и вход в нее из кондитерской, что на углу, там, где начинается «блюдечко»,—говорит мне Ивицкий.

Теперь мне стало все понятным.

Товарищ мой соблазнился игрой и примкнул, «примазался» к одному из столов. Я остался один на месте и равнодушным взглядом стал обводить играющих, удивляясь их разгоряченному спору и азарту, с которым они схватывали выигранные монеты.

— Не хотите ли разделить компанию,—выпить водки?—пробасил ближе ко мне сидевший «Омега».

Я не сразу сообразил, что приглашение ко мне относилось, потом встрепенулся и шагнул к углу комнаты.

— Я с вами не знаком еще; меня зовут Ск-ий,—говорю я им с легким поклоном.

— Знаем, знаем; я, вот,—Андронов, а это Филиппов,—быстро заговорил, привставая с места тот, кого все ученики почему-то называли «Геном».

Я пожимал руку этому сильному, атлетического сложения, скуластому усачу, потом худому, с впалыми щеками и с лихорадочными румянцем на них, «Омеге». Мне придвинули налитую рюмку водки. Сажусь, но пить отказываюсь.

— Ну, вот, шестиклассник, а не пьете; этак нельзя. Ну, чокнемтесь!—с ухарством протестует «Ген».

Все трое поднимаем рюмки и чокаемся.

— Вот так! Теперь по второй!

— Нет, не буду!

— То-есть, как это не будете? Пейте!—скомандовал «Омега».

— Мне нельзя, вредно! — хотел я им возразить, объяснить, но не смел.

Не успел я пригубить рюмку и отпить, морщась, половину, как с другого угла комнаты послышался возглас:

— Ну, ребята, пора, пол-первого, выбегайте по два, по три, не помногу зараз!

Все засуетились: кто бросал кий, кто собирал монету. Я воспользовался суматохой, наскоро простился со своими новыми знакомыми и мигом очутился на дворе, потом на опустевшем «блюдечке».

В голове шумело от водки, когда я входил в класс.

Сидел я на самой задней парте, рядом с великовозрастным, очень красивым евреем, Таболицким, никогда не готовившим уроков и как-то безучастно относившимся к классному обиходу. Он был всегда сосредоточен и задумчив. Только несколько месяцев спустя я узнал, о чем он думал. Привычки всех педагогов я изучил с первой же недели пребывания здесь, и потому знал, когда и какому учителю нужно приготовить заданное; сколько дней подряд и по какому предмету можно не брать книги в руки. Француз и немец так боялись учеников, что предоставляли нам самим выбирать очередных ответчиков, всему

остальному составу класса предоставляя заниматься тем, что кому по душе: приготовлением уроков по другим предметам, всевозможными шалостями, картежной игрой и тому подобными занятиями, ничего общего с новыми языками не имеющими. К латинисту, добродушному старичку, со странной фамилией, очень похожей на «Штанишки», большинство по его зову выходили с закладкой в книге, вырываемой из соответствующего места подстрочника, и медленно, яко-бы переводили, не помню уж каких латинских авторов. Старик удовлетворенно кивал лысой головой и все приговаривал:

— Так, так, голюбчики, голюбчики.

На уроках божьего закона происходила чистейшая комедия. Местный протоиерей, худосочный и с ликом каким-то блаженным, почти всегда, если его не злили ученики, сам отвечал за того, кого спрашивал, так как последний почти никогда не нюхал урока. Но стоило разозлить попа какой-нибудь выходкой, он умолкал. Немым молчанием дарил его и ученик. Тогда поп приходил в бешенство и убегал из класса; за ним выбегали гурьбой ученики и употребляли следующий способ умилостивления: тот, кого спрашивали, подходил к попу под благословение первым, а за ним, гуськом, с вытянутыми и скрещенными ладонями, выстраивались все остальные. Поп не выдерживал, благословлял каждого; следовало целование сухощавой кисти священника, после чего все возвращались обратно в класс, и под суфлирование попа ученик выцеживал «житие святых».

Зато математика, Баревича, все боялись и зубрили к его уроку изо всех сил, а некоторые из наиболее набожных учеников (они же были, по моим наблюдениям, и наиболее тупыми) молились на икону в углу, когда тот входил своей гордой бесстрастной походкой в класс, и крестили свои животы под партой, когда он вызывал их к доске.

Был крут и словесник, молодой, чуть ли не с университетской скамьи, некто Толяк, ехидный и злопамятный брюнетик. Что касается полицейско-административного персонала, то дело обстояло вкратце следующим образом. Длинноногий моложавый директор, всегда одетый в щегольской вицмундир, звания был духовного. Будучи по натуре мелочным формалистом, он, может быть, и не видел нравственного разложения среди подначального ему юношества, подтягивал же за ношение тросточек, за опаздывание на молитву, оборванную пуговицу; любил шептунов и наветчиков. Звали его фамильярно «Федюшей». Инспектор был существо безликое и играл в директорскую дудку. Один из педелей, Дулевский, был одновременно и учителем в приготовительном классе. Ядовитый и злорадный, он любил исподтишка напакостить ученику, так что тот и не догадывался, почему внезапно обрушивалась на него немилость директорская. Приготовишке,— братцу моему, приходилось туго от педагогического его произвола. Другой педель, он же и учитель пения, хороший регент церковного хора, в большей части состоявшего из гимназистов, которых он лакомил конфетами, там же в церкви на боковом клиросе, чтобы лучше

пели, был человеком, может быть, и безобидным, но уж больно угодливым перед директором. Последнее его качество ученикам не нравилось. Прозван он был «Шекспиром» за некоторое действительное сходство в лице с драматургом. Из угодливости директору он иногда пакостил ученикам, и вот кем-то был сочинен стишок, который всеми учениками был мигом подхвачен, стишок неприличный и, я думаю, больше относившийся к директору, чем к певцу:

«Что Шекспир с Федюшей дружен,
Это знаем мы давно;
Хоть по должности-то выше,
Но г...о...

(тут следует нецензурный перевод слова «испражнение» г...у равно).

Как-то на одном из уроков латинского языка я заметил циркулировавшую по рукам тетрадку, которая, наконец, дошла до задних парт и попала в мои руки. Вижу, на одной стороне в алфавитном порядке написаны фамилии учеников нашего класса, а на другой обозначены какие-то цифры. Недоумеваю, смотрю на обложку тетрадки и читаю:

«Отметки за красоту учеников шестого класса, поставленные гимназистками пятого класса». Начинаю просматривать, дохожу до своего имени и вспыхиваю: мне поставлено столько пятерок, как никому другому. Машинально сосчитываю их число и быстро передаю тетрадку дальше.

«Милые, мне незнакомые барышни!—думаю про себя.—Вы и не догадываетесь, какой я грязный и загубленный человек. Если бы вы всё знали, то сразу бы отвернулись от меня, как от прокаженного».

Но, несмотря на такое рассуждение, я стал сильно с этих пор интересоваться девушками; обнаруженная оценка была могучим стимулом, однако, надолго еще не могшим приблизить меня к женской молодежи.

Как-то во время перемены ко мне подошел миловидный, с усиками, гимназистик четвертого класса и, улыбаясь, отрекомендовался. Он был сыном члена местного окружного суда; звали его Владимир Коревский.

— Компания наша поручила мне пригласить вас участвовать в выпивке. Если будет в воскресенье хорошая погода, то мы все поедем на лодках по реке, и там на островке высадимся и выпьем. Так вы поедете с нами? Вас все очень просят,—заявил он мне.

Приглашение мне польстило. Что это за компания, я приблизительно знал,—это были все великовозрастные ученики из разных классов, все дети видных в городе чиновников. Выпивок я из-за болезни избегал, да и вообще себя чувствовал очень слабым и убитым горем. Я начал было отказываться, но тот взял с меня слово, простился и ушел.

В назначенное воскресенье день был сухой, солнечный, хотя и была поздняя осень. В два часа, как было условлено, я стоял уже у

моста. Компания человек в двадцать быстро собралась у лодок. Некоторые из пришедших несли в руках солидные корзины. Все мы разместились в пяти лодках и отчалили вверх по течению. С нами был и Ивицкий. Большинство из ехавших были мне незнакомы, но Ивицкий знал уже всех и вполголоса, сидя за рулем, объяснял мне, кто тот или другой, на кого я ему указывал незаметно глазами.

Плыли с песнями, с «Дубинушкой», с «Волгой», с «Не осенним дождиком». Рослые парни бойко гребли, с трудом преодолевая сильное течение реки. Высокие обрывистые берега по краям еще зеленели, а дальше бурели оголенные луга. На юг, по направлению к солнцу, совсем почти не гревшему на воде, вереницами плыли по небу стаи птиц. Часа через полтора-два начали, наконец, причаливать к чистенькому, покрытому совсем еще свежей зеленью, островку, с какой-то постройкой по середине, оказавшейся заброшенным и покосившимся охотничьим домиком. Туда-то все и направились, разместились прямо на полу и стали лихорадочно, торопя друг друга и при этом по-мужицки ругаясь, опоражнивать корзины. На полу появилась целая батарея бутылок с надписями «Варшавянка», «Шустовая», «Запеканка», «Спотыкач», две четверти монопольной водки, несколько лимонов, ветчина, колбаса, кильки, сардинки, огурцы и прочее. Пробки быстро повыскакивали почти из всех бутылочных горлышек сразу, полилась водка в чайные стаканы, которых было меньше, чем участников, и началось пьянство, такое дикое, что я только таращил глаза. Выпивали залпом, стакан за стаканом, торопя друг друга и с жадностью вырывая из рук освобождающуюся посуду. Я сразу отказался от водки и стал медленно только для виду пить какую-то не очень крепкую наливку. Хмелели быстро; столбом поднялась площадная ругань, хохот, похабные анекдоты, издевательство над педагогами, циничные разсказы о некоторых гимназистках, табачный угар; потом стали бегать по острову, драться, сбрасывали друг друга в воду. Затем опять принимались пить, уже из патентованных бутылок, но теперь уж без стаканов, а прямо из горлышек, меняясь друг с другом бутылками. Такой разгул я видел в первый раз в своей жизни. Выпитая наливка, табачный дым, гомон и вся эта вакханалия подействовали на меня тошнотворно. Опьянели все окончательно; стали горланить вразброд ужасные песни, многих тошнило, некоторых уж повторно сорвало. Сносно выглядели только трое: коренастый «Ген», сын ветеринарного инспектора, Пангович, сын содержателя гостиницы, высокий, гибкий парень, и Прокопов, сын драгунского подполковника. Все трое были гимназические богатыри, держались на ногах покачиваясь, но уверенно, хотя и выпили больше других.

Начинало заметно темнеть. Сырой туман поднялся с реки. Стало холодно. Бутылки были пусты; часть их расставили на лужайке, выстроились на большом расстоянии и стали швырять в них остальными. Вдребезги разлеталось стекло, взрывы гогота поднимались после всякого удачного швырка. Когда все бутылки были перебиты, «Ген» скомандовал:

— В лодки, ребята!

Гурьбой, спотыкаясь, падая, а кто ползком двинулись к берегу. Я с ужасом представлял себе, что теперь будет самое ужасное,—думал, что все они вывалятся в воду из лодок и потонут, да еще и меня потянут за собой, но ничего этого не случилось: все благополучно уселись и отдались быстрому течению реки, продолжая оглушать вечерний воздух вульгарными песнями.

— Пусти!—вдруг заревел с соседней с моей лодки сидевший на руле «Омега».

Все повернули головы в сторону закричавшего.

— Пусти, мерзавец!—повторил «Омега» и встал на корме, оттолкнув от себя армянина Тер-Маресова, перезрелого пятиклассника, сына губернского почтмейстера.

Армяшка, споткнувшись о скамейку, упал; «Омега», сильно взмахивая стэком, несколько раз огрел им свалившегося по спине. Тот закричал от боли и быстро поднялся, но на пьяных ногах не мог удержаться и повалился опять в лодку. «Омега» продолжал наносить удары. Армянин полез было на него, но сидевшим в лодке было ясно, что, если он схватит «Омегу» за ногу, то тот полетит навзничь в воду, а потому они схватили армянина, лежавшего теперь поперек лодки и загораживавшего своей пьяной тушей подступ к корме, и стали упрашивать разсвирепевшего «Омегу» перестать драть лежачего. Но тот не прекращал.

— Пустите, пустите меня!—вопил армяшка.—Я его свалю! Ай, ой, ай, ой, ай! Мерзавец! Пустите!—кричал, упрашивал, пищал и даже начинал плакать Маресов.

— В котлету изрублю! Держите его крепко. Знаю, когда прекратить. Вот тебе, поганец, молокосос! Ты еще пьянствовать, молоко не обсохло. Вот тебе! Вот тебе! Мало пороли! Зарублю мерзавца!—ревел «Омега» и действительно рубил несчастную жертву.

Очевидно, он сводил с лежачим какие-нибудь личные счеты. Унять его не было возможности, и он бы до смерти запорол Маресова, если бы «Ген» не подплыл с боку и не спял шатавшагося уже и белого, как полотно, «Омегу» в свою лодку.

Армянин медленно расправлял свои члены и жалобно выл от бессильной злобы.

Было уже совсем темно, когда мы стали подплывать к пристани. Город весь залит был тускло мерцавшими огоньками. Вяло гудел церковный колокол на соборной каланче. Причалили, высадились.

— Ну, вот что, братцы!—заявил молодцеватый Прокопов.—Теперь разбредемся по домам, поужинаем, а к десяти часам все соберемся у бани и оттуда в бардак! По три целковых, чтоб было в кармане. Марш!—

— Ладно, браво, правильно, не опаздывать!—заголосили все хором и разбрелись в разные стороны.

Медленно начал накрапывать дождь. По липкому грязцому тротуару я стал подниматься к центру города, не спеша: есть мне не

хотелось, так как я на острове съел много ветчины и консервов; до дому было итти далеко, времени же до десяти часов оставался час с небольшим.

«Не пойду в публичный дом», — прорезала мое сознание первая яркая мысль.

Но винные пары владели мозгом, и подкралась вторая мысль:

«Один бы не пошел, а раз все пойдут, так уже заодно».

Далее, какое-то сладостное ощущение стало овладевать мной, и воспламенилось воображение.

«Слышал, но не видел и не бывал никогда в таком месте, а интересно посмотреть»,—шептал какой-то внутренний голос.

По случаю дождя улицы города были пустоваты, когда я очутился на бульваре. Лязгая подковами, молодцевато пронесся мимо меня эскадрон местных драгун на сероватых, в яблоках, конях. Кое-где шныряли без толку гимназисты средних классов. Мне стало как-то тепло, лицо начинало пылать.

«Я пойду с ними, увижу женщин, красивых женщин»...—стучала мысль в виски.

Стал ускорять шаги.

— Гимназист проводит меня?—толкнув локтем, проговорила мне нагло в ухо прошедшая мимо женщина.

Вздрогнул. Поднял голову, обернулся, на секунду остановился. Она тоже стояла в пол-оборота ко мне и оскаливала некрасивые зубы. Но я уже продолжал итти вперед.

«Зачем, ведь я через полчаса буду у публичных женщин»,—думал я.

«Красивых женщин», — прибавляло воображение.

Два педагога чинно прошли по аллее, небрежно дотронулись до своих форменных фуражек в ответ на мой поклон и скрылись за парусиновым навесом кондитерской. Городовой, вытянувшись, как истукан, стоял у подъезда губернаторского дома, под самым фонарем, надменно смерил меня с головы до ног и кашлянул как-то так неосторожно, что брызнул мне слегка слюной в лицо. Я шарахнулся, раскрыл рот, чтобы что-то сказать, но только потер рукой по щеке, и стал обводить ярко освещенные окна второго этажа, с плюшевыми портьерами и с пальмами на окнах. Хотел было войти в городской парк, обведенный каменной стеной, прежде принадлежавший католическому монастырю, но услышал мелкую дробь трещотки сторожа, возвещавшую о времени закрытия входных железных ворот.

Посмотрел на часы.

— Без 20 минут десять. До бани дойду в четверть часа. Пойду туда, воздержусь от сношения, а пойду только из любопытства, только посмотрю,—уговаривал я сам себя, поворачивая назад, и пошел боковыми темными улицами, чувствуя явно возраставшее нетерпение поскорее быть среди женщин.

На башне было десять, когда я обходил длинный корпус городской бани. Минут через пять-десять стали стекаться с разных сторон пошатывающиеся фигуры бывших участников вышивки. Всего на этот раз собралось только человек десять.

— А, и черный пришел!—воскликнул добродушный «Ген», трепля своей жилистой рукой по моему костлявому плечу.

— Ну, ладно! Ты, Прокопов, отправляйся вперед и разузнай, можно ли входить, нет ли начальства, а мы медленно станем подходить к задней калитке.

Молодцеватый Прокопов точно вдруг провалился в темноту, а мы медленно стали спускаться по узкой грязной, полутемной мостовой к какой-то впадине. Не зная дороги, я чуть не поскользнулся над самой лужей и только удержался за соседний забор. Уперлись в какую-то изгородь.

— Стой!—буркнул глухо «Омега».

Грязные клочья мрачных облаков тянулись по небу, и от их натиска робкие звездочки точно ежились и еще больше прижимались одна к другой. Где-то по близости размеренно, с расстановками, лаяла собака. Все стояли, понуря головы, и заметно пошатывались. Сердце в груди моей так сильно стало биться, что я его слышал сквозь распахнувшуюся шинель.

Было мне жарко, жутко, но я вместе с тем сгорал от нетерпения поскорее достигнуть цели.

Порывистый холодный ветер точно вдруг дунул на нас из-за изгороди. Откуда-то из темноты громкий отчетливый женский визг:

— Ай, не щекочи!—взвизгнула женщина, там где-то еще далеко.

— Догоню, стой, Манька!—доносился густой басок Прокопова.

— Ай, больно! — как-то приглушенно пропищала женщина.

— А много вас?

— Десять человек,—ответил Прокопов.

— Ну, ладно, веди боковой дверью, а я побегу отпирать изнутри.

Зашелестели кусты близ изгороди.

— Проходи, ребята, некого бояться, можно!—пробурчал Прокопов, осторожно отодвигая засов и растворяя садовую калитку.

Идем, спотыкаясь в темноте о клумбы, гряды, задевая за колючки крыжовника, обходим сбоку какой-то дом, совершенно темный внизу, а наверху окна освещены, но прикрыты цветными занавесочками.

— Сюда, осторожнее, не спотыкайтесь о порог,—прозвучал женский голос из черной впадины двери.

Проходим в нее гуськом. Сперва совсем темно, но свернули вправо, и я замечаю слабый свет от привернутой керосиновой лампы на стене большой комнаты, через которую нужно проходить. В полумраке различаю по стенам стулья, в правом углу мягкая мебель, слева пианино, на стенах какие-то картины в золоченых узеньких рамках.

— Что это?—спрашиваю шопотом рядом со мной шедшего «Гена».

— Это общий зал, здесь танцуют б..ди,—равнодушно отвечает он, употребив нецензурное название проституток.

Из залы выходим в коридор, с лестницей наверх, откуда виден более резкий свет, слышен женский визг и смех.

— Ну, Манька, ты со мной! восклицает впереди идущий по лестнице Прокопов и сильными руками, точно в охапку, схватывает миниатюрную фигуру женщины, подскакивавшей возле него.

— А это кто, точно новый, батюшки, в черной куртке, кто это?— спрашивает вдруг удивленно Манька, повернувши в мою сторону белокурую в локончиках красивую головку из-за плеча Прокопова, который несет уже ее наверх в своих объятиях.

— А это новичок у нас, так и прозванный нами «Черный»; к которой бы его пихнуть? Он, видать, в первый раз еще идет к женщинам,— проговорил насмешливо «Омега».

Манька недоумевающе стала всматриваться в мое лицо, как бы спрашивая меня: «Правда ли, что я в первый?» Как будто жалость к себе я читал в ее взоре, но ничего не возражал, молчал.

Не успели мы дойти до последней ступеньки, как из-за верхних перил слева и справа стали сбегаться женщины в платьях голубых, красных, желтых; некоторые с папиросами во рту, все в каких-то блестках и пахнули сильно духами.

— А, Петька, Сашка, «Омега»!—А где Сережа? Фу, как водкой разит! — «Ген» пьяный, пьяный, смотри, Сонька! — загорланили все в один голос, перебивая друг дружку, хлопая в ладоши, подпрыгивая на месте и пуская нам папиросный дым в глаза.

— Сашка ко мне!—идем—зацелую!

— Сонька, со мной, помнишь обещала!

— А я с «Геном» не пойду боюсь, он пьяный, возьми меня, Миша!

— Нет, Миша мой! Пошла вон, Катька!

В общей суматохе меня не заметили. У меня сразу закружилась голова, в глазах зарябило.

Я как-то бессознательно подвигался вперед по коридору и видел с боков, как будто двери в классы, освещенные изнутри, и только вместо учеников и учителей за ними,—были маленькие каморки с кроватями. Мигом стали захлопываться двери перед моим носом, одна за другою, скрывая за собою одну за женщин и какого-нибудь гимназиста. Скоро в пустом коридоре остался я один. Из запертых комнаток послышался пронзительный визг, оглушительный смех и густое ржание гимназистов. Я все еще медленно и бессознательно подвигался вперед, пока не очутился перед раскрытой дверцой, перед которой встал у порога, облокотился об косяк и весь как бы одеревенел, чувствуя, что не могу ни пошевельнуться, ни проговорить слова, и только с любопытством и внутренним страхом стал рассматривать обстановку. Свет от лампы на столике, часть наклонно стоявшего на нем зеркала и четверть окошка, затянутого сиреневой занавеской, были как бы отрезаны от моего взора фигурой полуголой жирной женщины, сидевшей за столиком, спиной ко мне, и взбивавшей перед зеркалом свою прическу. Мерно покачивая туфлей на босой ноге, она равнодушно занималась своим делом, не догадываясь о том, что я стою за ее спиною и рассматриваю комнатку. Слева помещалась низкая кровать,

не застеленная, со смятым и отброшенным к стене ватным стеганым одеялом. Над кроватью был устроен из голубой ткани какой-то шатер со складками и с бумажным ангелом наверху. Справа стоял маленький комод, над ним, по обоям канареечного цвета, были развешаны фотографические карточки; перед комодом стояла на полу корзина. Стена, к которой примыкал комод, не доходила до потолка приблизительно на поларшина, и из этой щели доносился отчетливый визг и какое-то мычание «Омеги». Вдруг розовый свет за щелью погас, и там воцарилась мертвая тишина. В остальных комнатах тоже притихли.

— Стэфця, ты с кем?—послышался из-за перегородки сдавленный голос женщины.

Толстая баба перестала болтать ногой и, слегка повернув вправо голову, произнесла с польским акцентом:

— Я една, зо мной никого.

Голова ея еще чуточку повернулась, и она вскрикнула:

— Ах, кто такий?

Я молча шагнул в ее сторону, чувствуя смертельную бледность в лице и невозможность шевелить языком.

— Сядайте, вон тутай!—проговорила она, удивляясь моему молчанию и показывая на рядом стоявший венский стул, на который я грузно опустился, а тот опасно зашатался, весь сдвинувшись к окну и упершись спинкой о подоконник.

С робостью стал я смотреть в ее мясистое лицо, во всю щеку нарумяненное и сильно напудренное. Она как-то кисло улыбалась. Я силился ответить ей улыбкой, но ничего не выходило.

— Давай папиросу, — произнесла она с каким-то капризным раздражением.

Я обрадовался тому, что она заговорила, даже вскочил на ноги, вынул из кармана свой кожаный портпапирос, раскрыл его и протянул ей. Та проворно сунула папиросу себе в губы и ждала. Зажег спичку и поднес к ее рту. Сильно втягивая свои пухлые щеки, она закурила и, пропустив вокруг себя клубы дыма, вдруг встала, шагнула в сторону кровати и повалилась на нее с размаху своим грузным телом, в одной рубашке и затянутая поверх нее в корсет. А я продолжал стоять на месте и смотрел на ее лежачую фигуру, не то с любопытством, не то с сладострастьем.

—Ну, цо?—как бы промычала она, быстро скрестив свои голые ноги.

Я робко сел подле нее на постели и стал молча гладить ее пухлую руку возле локтя. Захотелось к ней прижаться, спрятаться на ее груди и заплакать.

— Что, долго еще буду так лежать?—вдруг резко оборвала она тишину

— Я только так поглажу вас, больше ничего не буду...—залепетал я, нагнулся и стал целовать ее губы, щеки, пухлый подбородок.

Она не разжимала своих губ и корчила гримасу при каждом моем поцелуе.

— Оставь, всю краску с губ оближешь, ложись скорей!—проговорила она, отстраняя от меня в бок свою голову и быстрым движением руки сунула себе в губы тлевшую еще папиросу.

По соседству засуетились. На коридор где-то неподалеку кто-то вышел, выругался матерно и захохотал.

— Валяй, «Черный», довольно любезничать,—крикнул из-за простенка «Омега».

Стефця швырнула в угол папиросу и сильным движением руки повалила меня на себя . . . . . .

. . . . . .

Потом все повысыпали на коридор, стали давать женщинам рубли, хохотали, бранились и, подталкивая друг друга, стали лениво спускаться с лестницы; потом прошли зал, теперь ярко освещенный рядом стенных ламп, с шарообразными розовыми абажурами; в золоченых рамах оказались картины голых женщин. Из-за портьеры в соседней комнате, прячась, посматривала какая-то злая сухая старуха. Жутко стало мне от ее оловянного взгляда, и я отвернулся.

Через ту же калитку, что пришли, мы вышли вон на грязный переулок. Мое расгоряченное лицо приятно стал обвевать липкий от изморози ветер. Сперва шли вместе, но у первого перекрестка все как-то сразу разбрелись, и я остался один.

Медленно, понуря голову, какой-то жалкий, пришибленный, неудовлетворенный шел я через город, припоминая подробности проведенного мною дня, начиная от утренней службы в церкви, прогулки по «блюдечку», и кончая вот тем, что только что было. «Какая мерзость все эти новые товарищи, в какую грязь я только что окунулся»,—думал я. Итти начинал все быстрее, голову постепенно стал держать прямее.

— «Не пойду к ним больше»,—решил я в душе.

Из ресторана на углу в раскрытые окна вытекали сиплые звуки дребезжащего симфониона, отбивавшего мотив польского «Краковяка». Сновали по тротуарам офицеры местного драгунского полка, позванивая шпорами. На перекрестках чинно прохаживались городовые. На каланче било двенадцать, когда я добирался до своего дома. Уже издали стал я различать огоньки на кладбище. Жутко было приближаться, и было стыдно перед памятью доброй женщины, тут недавно похороненной. На мой робкий звонок мне не сразу отворил двери отец, вышедший с лампой в руках.

— Я, папа, у товарища был в гостях; прости, что так поздно вернулся и тебя обеспокоил,—говорю я.

— Мы там в карты играли, — прибавляю, глядя в сторону, избегая света от лампы.

— А во что, в преферанс? — спрашивает отец, подходя к своему кабинету.

— Да, в преферанс,—отвечаю.

— Ну, покойной ночи,—проговорил отец, и мы разошлись по своим комнатам.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

В середине октября сделалось что-то страшное. Вдруг, ни с того, ни с сего стали приходить угрожающие вести. Всюду заговорили о повсеместных беспорядках в России. Вести одна за другою, одна другой ужаснее стали доходить до нашего городка. Сперва появилось известие, что начали в больших городах бастовать рабочие; потом стало известно, что среди крестьян в разных губерниях стали вспыхивать бунты; говорили, что участились грабежи, убийства и кражи; наконец, всех ошеломила весть о том, что железнодорожники прекратили движение поездов во всей России. Последнему известию многие не верили, и так как до вокзала было четырнадцать верст, то не сразу для всех это стало очевидным, но скоро все удостоверились, что это было действительно так.

В нашем городе стало тоже неспокойно. По ночам слышались в разных местах какие-то ружейные выстрелы, по улицам непрерывно стали двигаться конные и пешие войска. Наконец, по распоряжению начальства были закрыты учебные заведения. Я смутно чувствовал, что происходит что-то стихийное, важное, но ничего не понимал и поверил отцу, который мрачно объявил, что благодаря всеобщему недовольству миром, заключенным два месяца назад с Японией, заволновался весь народ, но что скоро, вероятно, все успокоится, а пока нужно сидеть дома.

Раз как-то я выскочил вечером на улицу, а оттуда на площадь. Всюду сновали патрули; в левом углу площади я завидел какую-то толпу, к которой подъезжал на своей коляске грузный полицеймейстер, фон-Франкенштейн. Когда он подъехал к толпе, то кто-то ударил его кулаком по затылку так, что у него свалилась с головы фуражка, и городовой бросился ее поднимать. Толпа злорадно хохотала и кричала по-польски о каком-то манифесте. Среди кричавших большинство было из бастовавших с прошлого года польских учеников, и мне подумалось, что из личной национальной мести они ударили полицеймейстера, который беспомощно и растерянно пожимал плечами и отвечал, что не слышал ни о каком манифесте. Но вскоре всем стало известно, что царь издал манифест о каких-то свободах. Ни сути, ни значения этого акта я не понимал, только ясно мне стало, что все сразу успокоилось и как будто по-старому все пошло, и занятия в гимназии возобновились.

В таком слепом неведении я наблюдал величайшее событие в мире—Великую Октябрьскую Всероссийскую Забастовку.

Медленно стало подвигаться вперед время. Все та же гимназия, скучные уроки, снование по «блюдечку». «Пьяная компания» неоднократно приглашала меня на повторение выпивок, но я уже больше в них не участвовал, хотя и продолжал товарищеские отношения с членами этой компании.

Инстинктивно стало тянуть к более тесному контакту со своими одноклассниками, и я сошелся было с довольно многочисленной группой по виду благонамеренных учеников, более аккуратных в приготовлении уроков и не примыкавших к бильярдистам и кутилам. В скором времени меня пригласили на именины к одному из таких благонамеренных, дородному плечистому парню, Ступинину, сыну акцизного надзирателя. Придя в назначенный вечерний час в дом его родителей, я застал в большой, хорошо меблированной квартире группу учеников, человек в пятнадцать, частью из своего класса, частью из других смежных. Оказалось, что родители Ступинина и две его сестры, гимназистки старших классов, не присутствовали в доме: как я после узнал, это было сделано умышленно, чтобы не стеснять приглашенных. Сперва принялись, было, за обсуждение гимназических впечатлений, под аккомпанемент курения папирос; некоторые из приглашенных, с участием хозяина, сыграли на балалайках, на гитаре и на мандолине несколько вещиц, которые к этому времени разучивались для предстоявшего гимназического вечера, но вскоре и разговоры о гимназии и музыка были быстро оборваны и все направились по зову прислуги в столовую, где уселись за ужин. Сперва все шло чинно: ели, запивая пивом, но дальше пошли спиртные напитки, все загорланили, пошли сальные анекдоты, и все перепились, хотя и не в такой возмутительной степени, как это было на острове. Несмотря на старание сдерживать себя, из боязни за свой зараженный организм, я тоже выпил на этот раз порядочно и уходил домой ночью, сильно качаясь.

Как мне стало известно потом, компания благонамеренных, отчасти с явного соизволения на то их родителей, а отчасти пользуясь тем, что родители смотрят на это сквозь пальцы, периодически, приблизительно по одному разу в месяц, устраивала такие «умеренные», по ее определению, трапезы.

Было очень скучно мне, оставаться дома вечером было жутко и тоскливо: опять начинали одолевать призраки смерти и болезни и мучительная угнетенность от все более рельефного понимания ненормальности нашего семейного уклада и взаимной разобщенности в семье. Я не выдерживал от муки и уходил из дому. Но куда итти, к кому итти? И я ходил сперва без толку один по улицам и по аллеям парка, наблюдая гуляющих—дам, офицеров, чиновников, гимназисток, учеников. Много грязи, скабрезностей интимного характера и сплетен города я уже знал к этому времени, и теперь, во время своих скитаний, чисто одиноких, а то вдвоем или втроем, с примыкавшими ко мне то товарищами, то знакомыми мелкими чиновниками, я имел полную возможность во многом из рассказов и сплетен убеждаться воочию.

Во время одной из таких прогулок, в ноябре, вечером, когда уже зажгли фонари, сталкиваюсь я на углу, при повороте с центральной улицы на боковую, с высоким господином, в котелке, в черном, красиво сшитом пальто, бородатым, седым. Он сильно покачнулся в мою сторону, очевидно, поскользнувшись. Я схватываю его под руку, сообщая ему своим движением равновесие. Знаю, что это секретарь крестьянского присутствия, легендарный пьяница. Он выпрямляется, останавливается и смотрит добродушно мне в лицо глазами воспаленными, но красивыми, весь в мелких морщинках на розовом благообразном лице, весь какой-то величественный и осанистый.

— Ха-ха, думаете, уже пьян? Нет еще, иду напиться. Я новый метод изобрел: заказываю в ресторане водку в суповых тарелках и хлебаю ложкой. Знаете песню?

Я молчу, стою и продолжаю держать его за руку: все мне кажется, будто он нетвердо стоит и еще будет падать в мою сторону. Старик еще больше выпрямляется, приподымает над грудью свою окладистую бороду и начинает петь в полголоса нетвердым, дрожащим, но густым приятным басом свою всегдашнюю любимую песенку, которую тут же заканчивает, кому бы он ее ни пел, патетическими словами:

«Наш покоренный Кавказ», — после чего следует неожиданное трехэтажное ругательство и дребезжащий раскатистый хохот.

Он уже не в первый раз при мне делает этот фортель, но он так заразительно при этом смеется и гримасничает, что и я смеюсь, хотя у меня на душе невесело, а самый вид почтенного пьяницы внушает жалость.

— Ну, пойдем выпьем!—восклицает он и трогается с места, увлекая меня за собой.

Я вдруг схватываю его за рукав обеими руками, с силой тяну назад в переулок и, почти не сознавая того, что делаю, начинаю ласково-просительно ему говорить:

— Пойдемте домой, я вас провожу, не надо пить, это вредно; ну, пойдемте, я вас прошу; зачем пьянствовать? Вы такой добрый, хороший...

Старик начинает прислушиваться к моим словам, сперва идет, как на поводу, безвольный, но тут же сразу начинает упираться, останавливается, задерживает меня и говорит:

— Это ты что, что это ты? Первый юноша тащит меня прочь от кабака. Что это тебе в голову пришло? Все со мной пьют. Оставь меня. Пойду...

Но я его удерживаю.

— Зачем пить? Пойдем домой,—настаиваю я.

— Как зачем? Почему домой?—отвечает он с волнением, и в старом окаймленном морщинками глазу его сверкнула слеза.

— Дома—жена, она осточертела мне от своих наставлений. Будто я ребенок?! Запирает от меня деньги, прячет вещи, и ругается, ругается с утра до ночи. Нет, пусти, пусти, говорю!—и он вырывается.

Я за ним. Идем рядом. Я все стараюсь его урезонить, успокоить, но тот ускоряет шаги.

— Пойдем, покажу тебе штучку!—говорит он, подмигивая мне глазом.

— Какую?

— А вот увидишь.

Он круто сворачивает в ресторан. Я за ним. Подходим к прилавку.

— Рюмку водки из стекла потоньше!—командует он.

Ресторатор моментально двумя пальцами подхватывает из сотни одну рюмочку, переворачивает ее на лету, ставит на блестящий никелированный поставец и льет водку. Не успел он долить до краев, как старик уже схватил ее в руку и жадно... не выпил из нее, а... сунул себе в рот и, хрустнув зубами, стал разгрызать стекло у себя во рту. Я с ужасом взглянул на его рот. В губах его торчала только ножка рюмки, а сам он морщился и с остервенением продолжал грызть стекло. По подбородку его закапала кровь. Он тут же выплюнул стекло и пенистую кровь со слюной и захохотал, обтирая рот и бороду посовым платком.

— Ну, теперь, давайте хлебать водку из тарелки,—закричал он, подмигнув улыбнувшемуся ресторатору и, приглашая меня следовать за собою, пошел через общий зал в боковую комнату.

Я круто повернулся, вышел вон из ресторана, унося в душе ужас и омерзение, и стал продолжать свои странствования по городу.

Во время одной из позднейших прогулок по парку я наткнулся на одной из дальних боковых аллей на такую сцену. На скамейке сидят две красивые женщины, с еврейскими лицами, очень похожими друг на друга, элегантно, но скромно одинаково одетые, в широкие клетчатые осенние манто. Они смотрят и улыбаются, повернув головы в правую сторону, где, на конце скамейки, старый драгун, подполковник местного кавалерийского полка, барон Борейтель, обнимает, берет за побдородок и силится поцеловать девочку лет тринадцати, очень похожую на улыбающихся женщин, но некрасивую лицом. Она как-то вяло отбивается, краснеет и смотрит на улыбающихся, как бы спрашивая, что ей делать, а те как-то двусмысленно моргают ей глазами, будто поощряя ту сдаться.

Я уже знал, что этот старый развратник, мот и кутила когда-то давно соблазнил одну еврейскую девушку и стал ее содержать, а потом и жить с ней. Когда подросла ее сестра, он то же проделал и с тою, после чего обе они прослыли в городе между гимназистами под кличкой «Цвейки», т.-е., переводя смысл этого еврейско-немецкого слова по-русски, это означало «двойня».

Гимназисты в городе подсмеивались и говорили, что Борейтель готовит и выращивает себе третью сестру, которая еще совсем девочка,

а будет тоже его содержанкой, и тогда всех трех сестер придется звать «Дрейки», что значит по-немецки-еврейски «Тройня». Этот барон крепкий мужчина, лет 58, седой, бородатый, с мопсообразным лицом, вдовец, у которого четверо взрослых детей: трое сыновей, вышедших уже в офицеры и служивших в том же полку, что и их отец, и восемнадцатилетняя дочь, миловидная, привлекательная смуглянка, которую отец держал взаперти и вместе со своими сыновьями, кутилами и развратниками, строго следил за тем, чтобы она ни с кем из юношей не смела гулять одна, боясь, очевидно, за ее нравственность и девственность. Эта девушка была одна из первых, с которой я успел уже познакомиться после того, как немного пришел в себя от своей семейной катастрофы. Произошло это знакомство на том же «блюдечке», где ей изредка позволялось гулять, но строго было запрещено возвращаться с кем-либо из юношей вдвоем, без подруги, и возвращаться слишком поздно. Высокая, стройная и своенравная, она в то же время обнаруживала на своем южном лице какую-то запуганность, всегда вздрагивала, часто оборачивалась и всматривалась в стороны. Я знал уже и о том, что у нее умерла три года тому назад мать от запоя, о том, как ведут себя ее братья, и о поведении ее отца, открыто для всех путавшегося со своими «Цвейками» и со многими легкомысленными женщинами. Пройдясь с нею несколько раз из конца в конец по «блюдечку», я вызвался нарочно, чтобы испытать ее, проводить до дому. Уже смеркалось.

— Я с вами охотно пройдусь, пойдемте,—воскликнула она экспансивно, но последнее слово произнесла как-то менее решительно и растянуто.

Пройдя шагов пять—десять, я как бы незаметно заговорил о возможности встречи с ее отцом.

— Нет, я вижу во все стороны и вижу далеко, его нигде нет по близости; впрочем, что за глупости! Правда я боюсь его, но не уважаю, я знаю, как он себя неприлично ведет в городе. Но нет, он не увидит, что я возвращаюсь домой без подруг,—говорила она мне, то повышая, то сильно понижая красивый волнующий голос.

— А вы исполните мою просьбу?!!—вдруг бросает она мне вопрос.

Непременно—отвечаю ей в тон.

— Очень секретную,—добавляет она задумчиво.

— Какую угодно—отвечаю я.

— Ну, вот, передайте эту записку Скрыпину, только так, чтобы никто не увидел; если можете, то сегодня же.

Мы уже были от ее дома, на окраине города, шагах в двухстах. Я принял от нее письмецо и обещал передать сегодня же.

— Ну, теперь прощайте, дальше вам идти нельзя,—произнесла она вдруг, сжала крепко мою руку и почти побежала вперед.

Я постоял с минуту, помял в руке письмецо, повернулся и пошел назад в город, отыскал Скрыпина, великовозрастного гимназиста

седьмого класса, и передал ему письмо. Тот вспыхнул, улыбнулся, поблагодарил, потом начал спрашивать, при каких обстоятельствах мне было передано это письмо; я объяснил и ушел от него.

Через неделю после этого по городу огласился скандал. Оказалось, что у Зины Борейтель со Скрыпиным происходили и раньше тайные свидания в огороде Борейтелев, куда проникал Скрыпин, перелезая через забор. Все шло благополучно до этого последнего раза, когда Скрыпин внезапно, во время свидания, был вспугнут лаем собак, которых натравил на него старик Борейтель. Скрыпин бросился к забору, чтобы пролезть через него, но собаки настигли его раньше, чем он успел вскарабкаться на него, искусали его и изорвали платье. С трудом отделавшись от собак и перелезши через забор в поле, несчастный Скрыпин был оглушен сперва ударом чьего-то кулака, а после избит двумя денщиками, которые действовали по приказанию одного из братьев Зины, стоявшего немного поодаль от забора!

— Ну, теперь довольно, братцы! — крикнул солдатам молодой корнет, когда те изрядно отдубасили гимназиста.

— Будете помнить свидание?!! — крикнул после этого офицер и скрылся за угол вместе с солдатами.

Обо всем этом стало известно через день некоторым из старших гимназистов, а потом и всему городу. Зина после этого в городе долго не появлялась.

Теперь, наткнувшись на сцену в парке, я понял сразу, в чем дело.

«Цвейки», заметив мое присутствие, сконфузились и опустили головы. Девочка и старый селадон, за новым увлечением, не замечали меня.

Мне стало неловко от невольного пикантного открытия,—я повернулся на месте и стал удаляться. Дул холодный ветер, захватывая и гоня по аллее буро-коричневые скорченные полусгнившие листья. Было сыро, а на душе у меня было особенно пасмурно в этот день.

«Значит, правда,—думал я,—что говорят о третьей сестре; бедная девочка, такая робкая, некрасивая и беззащитная, а те две не обороняют ее, малюсенькую, и еще смеются над тем, что Борейтель к ней пристает».

Невдолге после этого случая я наткнулся в городе вот на что. Както после полуночи я возвращался домой от Ивицкого, у которого с некоторого времени частенько стали собираться гимназисты для игры в преферанс. Я сильно пристрастился к картам и играл теперь запоем. Город был совсем мертвый. Накрапывал дождь. При повороте от ограды парка—на одну из видных в городе улиц, с высокими красивыми каменными домами, я вдруг остановился как вкопаный и задрожал всем телом от прорвавшего ночное безмолвие крика.

— Пошел вон! Становись на своем посту! Чего лезешь? Что я сам, что ли, дороги не знаю? Знаю, где банк, не беспокойся. Пошел на пост!— говорил нараспев в полумраке какой-то мужчина в статском платье, высокий, в котелке, совсем пьяный, шатающийся!

Я не мог разглядеть его лица, стоя по другую сторону улицы.

— Ваше превосходительство! — каким-то виноватым голосом отвечал городовой, держа руку под козырек и суетясь около длинного господина.

— Дозвольте вам... пособить, вот сюда нужно итти.

— Сказал тебе, каналья, оставь меня, пошел на пост, слышишь?! — голосил господин и еще больше зашатался.

Городовой нерешительно топтался на месте и опять попробовал было:

— Ваше прево...

— Вон, становись на посту, вот там, у фонаря, марш! — выпрямившись, крикнул приказательно господин.

Городовой повернулся, зашагал по тротуару и направился к фонарю на перекрестке, большому матовому шару, качавшемуся от ветра на высоком, спирально изогнутом вверху металлическом столбе, находившемся шагах в полутораста, а приказавший остался на месте и смотрел тому вслед, качаясь и что-то бормоча себе под нос. Городовой дошел до фонарного столба, остановился и повернулся лицом к господину, а тот, шатаясь, заковылял на длинных ногах в противоположную от света сторону. Я стал за ним следить.

— «Тихо качайтесь, качели»... вдруг запел господин голосом сиплым, фальшивым, и не допев до слова: «сон», покачнулся и чуть не упал навзничь, но удержался, обхватив обеими руками водосточную трубу.

— Стой, милая Элиза! дай обнять твой восхитительный стан! — залепетал господин, обнимая трубу.

— Нет, не учесть мне капитала... ну, сколько будет, если...— и он стал выговаривать длинные числа, оставив трубу и цепляясь за карнизы домов, за выступы, за подоконники, ощупью на слабых ногах плетясь боком вперед. Я медленно сопровождал его по параллели улицы.

— Вот он, банк! Я говорил что найду сам, — вдруг воскликнул он, поровнявшись с обитыми железом воротами высокого каменного дома.

— Что, не говорил я тебе? — прибавил он в сторону городового, прищелкнул при этом языком и потянул за ручку звонка.

— «Слышатся звуки сви-ре-е-е-ли»,—запел он, шатаясь на месте в то время, как задвигались железные болты и заазякали засовы.

Отворилась небольшая дверца, выскочил из нее кто-то в сюртуке с галунами, схватил под руку господина и оба скрылись в воротах, а болты и засовы снова загремели. Я недоумевал, кто бы это мог быть, постоял на месте, потом повернулся и пошел к фонарю. Городовой равнодушно прогуливался вокруг столба.

— Скажите, кто такой этот господин, что пел сейчас?—спрашиваю я.

Городовой ответил не сразу.

— Уж больно смешно он трубу обнимал,—добавляю я.

Городовой усмехнулся.

— Беда, баринок, ведь, вот, подите, через день — через два вот так возвращаться изволят; это управляющий государственного банка, генерал Патров. У нас есть тайный приказ подсоблять им доходить до дому, а они вот как гонят прочь от себя. Странные они, — добавил добродушно городовой.

— Ну, спасибо, прощайте,—произнес я и побрел домой.

«Патров»,—думаю про себя,—«так вот каков папенька! Сынок фигурой похож, такой же головастый, длинноногий, хилый, худосочный, совсем слабый телом».—И я стал представлять себе своего одноклассника, бледного подростка, Патрова, первого ученика нашего класса, над которым подтрунивали товарищи, говоря, что отец держит его в ежовых рукавицах. Тот только ухмылялся на эти слова и отшучивался, а у самого глаза как-то тускнели при этом. Я знал, что этот юноша и такая же хилая сестрица его, гимназистка пятого класса, жили с деспотичным отцом одни, без матери, которая проживала отдельно в Петербурге.—«Вот какого сам-то поведения, — думаю про себя, — а еще управляющий банком. Хорош!».

В некоторых более крупных чиновничьих семьях часто устраивались вечеринки, на которые приглашались взрослые гимназисты, гимназистки, чиновная молодежь, офицеры. Меня тоже начали звать на такие вечеринки, и я стал изредка бывать на них. Здесь я перезнакомился со всеми наиболее интересными (по наружности) русскими девушками города. Польское общество стояло в стороне от русского, одно другое ненавидело; интересов польского общества и его настроений я в это время еще не знал и не понимал; польский элемент отсутствовал в гимназии. Вследствие всего этого я с польским обществом в контакт не входил и мог только наблюдать пока и присматриваться к русскому контингенту города. И сразу мой шестнадцатилетний мозг, совершенно неразвитый и непредубежденный, стал в тупик перед тем, как бессмысленно, бесцельно и глупо проводят время все эти молодые люди. Не успевают собраться, как начинается хохот, и мне всегда казалось, что острота шуток не соответствовала интенсивности смеха: я мог только спокойно их выслушивать и молчать, или спокойно улыбаться, а кругом все, как по заказу, начинали хохотать. Тут же принимались за игры—в жмурки, в фанты, в загадывания,—и все это мне казалось детским, недостойным взрослых людей и скучным. Потом шли танцы, бесконечные танцы, в которых я участия не принимал, так как не умел еще танцовать, и сидел где-нибудь в уголке, то один и скучал, позевывая, то с какой-нибудь из девушек, которая мне казалась посерьезнее и не помню уж какими старался ее занимать разговорами. Меня слушали как-будто внимательно, но недолго: сказав раз или два подскочившему кавалеру: «нет, не буду», всякая девушка на третий или на четвертый раз не выдерживала, миловидно, будто виновато, перебивала меня словами: «вы не рассердитесь»,—потом

быстро вскакивала с своего места и принималась кружиться, как все, а я оставался один, и только недоумевал, какая всем охота вертеться под музыку. Дальше, шли ужинать: блюда бывали бесчисленные, угощения бесконечные; девушки запивали вином, юноши, в приличной пропорции, наливками и пивом; сидели ужасно долго. Насытившись до отвала, опять принимались отплясывать. Описанной программы держались во всех домах, но с некоторыми вариациями: так, иногда принимались петь хором русские народные песни,—это мне нравилось, некоторые из песен, Некрасовские, я слышал в первый раз и втайне испытывал восхищение, подпевая за хором мотив. Но чаще начиналась почта амура, писание записочек легкомысленного и глупого свойства,—это мне претило, я уклонялся от участия в этом,—тогда начинались надо мной насмешки и шутки. Вскоре мне наскучили подобные вечеринки, и я перестал их посещать.

Всюду мне было бесприютно и тоскливо и чего-то другого нужно было, но чего я не знал; руководить моим воспитанием и образованием было некому, и я понемногу стал тоже пристращаться к водке, а в карты к этому времени, как уже говорил, я играл запоем. Вышивать я любил больше вдвоем—втроем: для этого мы с Ивицким, или с другим кем-либо шли к монопольной лавке и через какого-нибудь солдата, или проходившего мимо оборванца, за пятак, так как гимназистам казенного вина не продавалось, добывали сороковку водки и где-нибудь, или на квартире у товарища, или за любыми воротами выпивали, закусывая дешевой колбасой.

Взрослое общество тем временем веселилось отдельно от молодежи, но на глазах у нее. Молодежь видела все, ко всему присматривалась и все перенимала. В крупных домах бывали званые вечера, где особенным почетом пользовались офицеры, преимущественно кавалеристы, сторонившиеся пехотинцев и бойко щеголявшие своими мундирами, саблями и шпорами. В городе офицеры появлялись часто в нетрезвом виде, держали себя на улице по отношению к публике нагло и вызывающе, требовали уступать им места на тротуаре больше, чем нужно, и шлялись без толку по главным улицам во всякое время. В «Благородном собрании» шли балы за балами, любительские спектакли, концерты и семейные вечера. Два раза в месяц на эти вечера допускались и гимназисты с гимназистками. Пошлые, слащавые скучные водевильчики мне сразу начали претить, несмотря на то, что к этому времени я был еще совсем незнаком с серьезным театром. Местные видные дамы блистали здесь своими туалетами, цинично оголенными грудями, спинами, руками. Дальше, шли танцы в душном тесном низком зале; танцоры потели, краснели, теснились, толкались, а в антрактах мужская половина развлекалась в буфетной. Здесь напивались офицеры и мелкие чиновники, щеголявшие своими длинными форменными сюртуками, с одной по большей части звездочкой на петлицах (я уже знал, что это коллежские регистраторы—первочинники), стояли гурьбой за буфетным прилавком, а гимназисты жадно смотрели

издали им в спины, по большей части, пересеченные золотыми и серебряными полосами портупей. Часто из буфетной комнаты вдруг раздавались шумные возгласы:

— Капитан такой-то, медведя! или:

— Поручик такой-то, а ну попробуйте, пари, что не протанцуете после этого больше двух туров вальса!

После таких возгласов все в буфетной шумно сдвигались, группируясь около названного капитана, поручика, или другого из бравшихся за «медведя» офицера или чиновника, а гимназисты с возбуждением и интересом поднимались на цыпочки, чтобы разглядеть, что будет делаться в центре буфетной. Делалось же тогда вот что: на буфетный прилавок ставился громадный бокал перед тем, кто будет его осушать, а буфетчик начинал наполнять его поочередно всякой алкогольной всячиной, повинуясь заказу толпившихся вокруг свидетелей.

— «Коньяку!»—«Ликеру!»—

— «Хересу!»—«Водки!»—«Рому!»—

— «Спотыкача!»—«Пива!»...—орали вокруг, хохоча и перебивая друг друга подвыпившие.

Бокал, таким образом, постепенно наполнялся до верху. Теперь шедший в пари, или просто бравировавший своею стойкостью к опьянению, брал в руки бокал и осушал его, после чего все хлопали в ладоши, кричали «браво», а выпивший содержимое бокала, которое и носило громкое название «медведя», молодцевато шествовал по направлению к танцовальному залу, весело и лукаво подмигивая на ходу расступающимся в стороны и провожающим его возгласами одобрения гимназистам. В зале уже начинала греметь музыка (всегда от одного из местных полков), наигрывая следующий танец. Буфетная пустела. «Медведь» пускался в пляс. С едва сдерживаемым хохотом и с шуточками следили за ним знавшие о выпитом, и особенно глазели на него видевшие происходившее в буфетной гимназисты, которые устремлялись все вперед из окружавшего танцующих круга и, подталкивая друг дружку локтями в бока, вполголоса, с каким-то восторженным задором говорили тем из товарищей, которые не знали в чем дело:

— Смотри, вот тот «медведя» выпил!

Или:

— Следи, следи, - начинает качаться!

Или:

— Закружился-то, завертелся-то как!

«Медведь» кончал по-разному: чаще пари выдерживал и медленно, пошатываясь, толкая публику, с мутными глазами и с какой-то бессмысленной дьявольской улыбкой, шел, подгибая коленки из залы опять в буфетную, но, бывало, выпивший не выдерживал, останавливался и валился среди залы под дружный хохот кавалеров и под истерические визги дам: его тут же подхватывали и волокли опять-таки в буфетную, к которой приникали взорами собравшиеся поглазеть, что

будет дальше, любопытные гимназисты. «Медведя»-неудачника начинали приводить в чувство опрыскиванием водой, совали ему в рот ломтики лимона, тормошили и шумно радовались и ругались, когда «Медведь» начинал изрыгать на пол съеденные незадолго перед тем бутерброды и алкогольную смесь. Дамы тем временем успокаивались, танцы продолжались и все шло, как ни в чем не бывало. Много дней спустя после таких инцидентов гимназисты рассказывали в городе о случившемся друг другу, с прибавлением разных прикрас и пикантных подробностей.

Изредка балы устраивались поочередно в офицерских собраниях двух пехотных, одного артиллерийского и одного кавалерийского местных полков. Сюда попадали гимназисты—только по приглашению, со своими родителями. Случилось и мне как-то побывать на одном из таких балов, детско-семейного характера. Увидел я здесь много полковых дам, разного возраста, по большей части полных, с массой детей, среднего возраста и совсем маленьких; все, и матери и дети, были красиво одеты; детей пичкали массой сладостей, их развлекали, заставляли танцовать; те капризничали, их утешали и опять пичкали сладостями, пока шалуны не засыпали тут же на руках бойко беседовавших друг с другом маменек. Тогда через залу затопали большими сапогами денщики и начинали на руках бережно уносить барченков, а те при этом просыпались, капризничали, кричали, били солдат по плечам, по лицу, по груди своими крепкими кулаками, потом сдавались и исчезали из залы. Тогда принимались уже по-настоящему отплясывать взрослые. Офицеры постарше—капитаны, подполковники, а кое-где, особенно важно и генералы, сидели в боковых комнатах за картами. В бильярдной звонко трескали шары, стукаясь о металлическую обивку луз. Я ходил из угла в угол, из комнаты в комнату. Все виденное было для меня неинтересным, монотонным и скучным. Все это общество, все эти вечера, вечеринки, попойки и снование по улицам стали действовать на меня тошнотворно. Я инстинктивно стал искать себе какого-то другого общества, но ничего удовлетворявшего меня не находил и примкнул на-время к группе мелких чиновников, заинтересовавших меня разговорами о каком-то самообразовании. Они мне показали какие-то новые учебники, какие-то записки, где излагались общая история, математика, теория составления сочинений и прочее.

— Что это такое, для чего все это?—спрашивал я их.

— А это—сокращенное изложение того, что проходится в в гимназии. Мы, вот, хотим проходить все предметы сами на дому, а потом будем сразу держать выпускной экзамен на аттестат зрелости. Это, знаете, гораздо скорее выйдет, чем проходить гимназию, а при том нас теперь туда и не принимают по возрасту, да и средств у нас нет учиться в гимназии.

Я выслушивал все это внимательно, рылся в кипе записок и учебников, видел, что в них говорится все о том же, что и в моих

учебниках, к которым я чувствовал пугливое отвращение, закрывал их и спрашивал чиновников:

— И подолгу вы сидите ежедневно над этими книгами?

— По-разному, отвечали они, переглядываясь друг с другом, и как-то виновато при этом улыбаясь.

— Вот, если терпенья хватает и никто не мешает, не пойдешь гулять, не сядешь за карты, так иногда часа по три, по четыре сидим!

Кончилось мое новое сближение тем, что я еще глубже погрузился в картежную игру, на этот раз уже с чиновниками, и стал сильно выпивать с ними. Большая часть из моих новых знакомых были люди слабовольные и без выдержки; усидчивости в подготовке предметов у них не было, занятия их не подвигались, я же мог только одно отвращение сообщать им от себя к скучным предметам, а потому мы и переходили к картам. Было среди них два или три упорных и усидчивых, но те с головой уходили в зубрежку, а мне такое отношение к наукам претило, и я с ними водиться перестал.

Около этого времени мои гулянья по городу и по парку редко уже бывали одинокими: большею частью я гулял теперь вдвоем или втроем с гимназистками старших классов, разговаривал с ними, слушал их болтовню, но, к какому-то недоумению и даже смутному ужасу, все больше и больше укреплялся в своем сознании, что мне с ними скучно, а на признаки их увлечения мною я отвечал им нескрываемым равнодушием, а потом мною стало овладевать мучительное отвращение к тем из них, в которых сам я вызывал к себе неравнодушие, и я хронически уходил от каждой из них, переходил от одной к другой, и все с тем же печальным для них и досадным для себя результатом. Было среди девушек две-три, особенно на вид интересные, к которым сам я начинал было льнуть, но тут я натыкался на солидных соперников в лице ухаживавших за ними офицеров или студентов: они отдавали тем явное предпочтение передо мною; как я потом узнавал, это делалось ими из видов на замужество, а я чувствовал горечь уязвляемого самолюбия и отступал, пожимая в душе плечами, не зная еще в чем тут дело и спрашивая себя, чем лучше меня эти фатишки, рассказывающие скучные анекдоты и хохочущие над милыми шутками девушек.

Раз как-то об эту пору, раздосадованный очередной неудачей в ухаживании, поздно вечером, в слякоть, я встретился на улице со своим одноклассником, Шатохиным, тем самым учеником, у которого пропадал учебник физики. В сыром воздухе плавали липкие снежинки, было холодно, а мне особенно скучно.

— Здравствуйте! Что вы такой задумчивый?—обратился он ко мне.

— А так, делать нечего, скучно, да вот и погода мерзкая,—отвечаю.

— Погода-то это так, а вот говорите, что делать нечего, — возражает он.

— А по алгебре вы приготовили урок? — спрашивает он дальше.

— Да, приготовил, выучил, верно, скоро отвечать придется, а все-таки скучно, — отвечаю, позевывая.

— Мне вот туго дается эта математика, да и Баревич стал какой-то лютый, все двойки за письменные работы пошли... А вы частными уроками не занимаетесь? — спрашивает он.

— Нет.

— А хотели бы? — прибавляет он.

Я знал, что многие из учеников старших классов занимаются уроками, но, во-первых, не думал я как-то до этого, чтобы и я был в состоянии учительствовать, а во-вторых, так много в городе было этих репетиторов, что найти урок было трудно.

— А, разве можно найти урок? — спрашиваю его медленно и смотрю ему в глаза.

— Вот я занимаюсь уроками и живу на них, у меня три урока, по часу ежедневно. Хотите, я сведу вас к знакомому еврею-фактору, вы с ним побеседуете, у него, может быть, есть что-нибудь на примете!

Какая-то радость разлилась по всему моему существу от его слов. «Мне скучно и я сную без дела—думаю я,—а вот Шатохин трудится, сам себя кормит, ему не скучно».

— Пойдем, сведите меня, пожалуйста!—говорю я.

— Вот сюда, в переулок направо, — показывает он рукой на грязную, темную уличку. — Идем по ней.

— Вот, в этом доме — говорит он через несколько минут и останавливается. Проходим в ворота, стучимся у крылечка во дворе.

— Харайн! — (значит «войдите» по-еврейски) слышим за дверью старческий голос.

Входим. Полутемная, низенькая комнатка,—тускло освещенная керосиновой лампочкой. За столом сидит пожилая женщина и режет хлеб. С печки раздается тот же старческий голос.

— А, Шатохин, что нужно?

— Здравствуйте, Файман, вот я товарища к вам привел; нет ли на примете какого-нибудь урока для него?

С полатей медленно стал слезать благообразный старик в ермолке и в длинном сюртуке, стал на пол, обернулся, подошел к нам, поздоровался, всмотрелся в мое лицо, стал расспрашивать, кто я, кто мой отец, в каком я классе. Получив надлежащие ответы, он обещал подумать, записал мой адрес и мы ушли.

— Все, вот и Ген, и Омега и Опмар, все они занимаются уроками,— говорит мне Шатохин, когда мы очутились снова на улице, под мелкими, мокрыми снежинками.

— Да, и они пьянствуют, вероятно, на свой заработок, а я не так буду расходовать деньги, если получу урок—отвечаю я ему.

— Ну, это зависит от количества. И я выпиваю, если лишние деньги заведутся,—говорит он.

«И ты, — думаю про себя. — А я думал что ты другой, серьезный, и не пьянствуешь», продолжаю думать.

— А, вот что, если даст вам Файман урок, то придется от первого месячного заработка отдать ему часть за посредничество, — говорит Шатохин.

— Да хоть все первое жалованье пусть берет, лишь бы урок нашел.

— Ну, до свидания, мне вот сюда, на урок, — говорит он, останавливаясь.

Мы распрощались.

Несколько дней после этого я ходил какой-то встревоженный, ожидающий; мысль о предстоящем уроке не выходила из головы. «Буду работать, будут у меня свои деньги, буду себе все сам покупать, а главное, не будет мне скучно», думал я. Файман не заставил меня долго ждать; он настиг меня на улице через несколько дней и повел по красивой парадной лестнице во второй этаж высокого дома на углу, у сквера.

— Будете довольны!—ответил он мне на расспросы мои по дороге, куда мы идем.

Позвонили; нам открыл денщик. Тут же вышла в переднюю невысокого роста пожилая брюнетка.

— Вот, господин Ско-ий,—проговорил Файман.—Вы можете себе сговориться, а я себе пойду — прибавил он, обращаясь к даме.

Она протянула мне руку. Я пожал ее и представился, потом простился с Файманом и прошел в большую гостиную. Оказалось, что я попал в дом интендантского полковника, г. Рудера. Сам он был онемеченный русский офицер, состоятельный, живший широко; супруга его оказалась симпатичной русской дамой; у них была взрослая дочка, лет 22, и сын, Юра, десятилетний, красивый мальчик, хорошо воспитанный и прилежный.

— Вот этого молодца, можете вы приготовить мне в первый класс кадетского корпуса? — спрашивает меня добродушно дама, хлопая по плечу сына, который пришел к нам по ее зову из соседней комнаты и расшаркнулся передо мной.

— Могу,—ответил я почему-то совершенно уверенно и даже гордо.

С тех пор я сделался репетитором и стал зарабатывать двенадцать рублей в месяц. Из первого же заработка предложил я доброму Файману взять себе, сколько он сам захочет. Тот взял три рубля и благодарил. На оставшиеся деньги я приобрел себе брюки, воротнички и еще что-то необходимое. С этого времени склад моего мышления сильно изменился; я стал еще серьезнее, вдумчивее, начал внимательно относиться к своим собственным урокам, стал ближе присматриваться к успехам своих братьев, в городе стал появляться на улицах реже. Начал читать русских классиков, Гоголя, Тургенева, Данилевского, но все бессистемно, бестолково, многого не понимая. В карты стал играть реже, выпивал очень редко, а ухаживание за барышнями почти вовсе оставил.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Вскоре выпал снег. Установилась морозная погода. На пруде у содержателя ресторана, Чоханского, как и в прежние года, был устроен каток. Я стал почти ежедневно кататься на нем, большею частью один, а то с барышнями. Оттуда шел на свой урок, где бодро, с увлечением занимался с бойким мальчиком. Я вспомнил все пережитое в его годы мною самим: тугость усвоения предметов, неумение со стороны моих репетиторов растолковывать мне трудные места, нетерпение их и раздражительность, побои отца, все это ярко стояло в моей памяти, обжигало мое сознание и приводило в трепет. Теперь в отношениях к своему первому ученику я сразу стал на дружескую ногу, полюбил его, стал бережно растолковывать ему непонятное. Этот хороший мальчик сразу привык ко мне, и нам обоим было радостно работать вместе.

Как-то, придя домой с урока и пройдя в свою комнату, я слышу за стеной сердитый голос отца:

— Федя, зайди ко мне!

Наскоро раздеваюсь и прохожу в отцовский кабинет. Отец сидит за своим массивным письменным столом у стоячей лампы, со спущенным жестяным зеленым абажуром.

— Вот, полюбуйся!—говорит он, поднимая голову и протягивая мне какую-то тетрадку.

Беру, нагибаюсь к свету и вижу, что же?—журнальчик с отметками маленького Адриана; в нем единица по арифметике и замечание за какую-то шалость. Перевожу взгляд на отца: он сидит злой и шевелит скулами.

— Ну, что ты скажешь?—бросает он мне короткий вопрос из сжатого рта.

Уж несколько раз у братца бывали плохие отметки, и он всегда жался ко мне и просил как-нибудь его выручить; я всегда устраивал так, что подпись отца производилась в моем присутствии, и все сходило благополучно. Теперь каким-то образом злосчастный журнальчик, да еще с единицей и с замечанием, попал прямо в руки отцу. По движениям скул на лице его, по злому выражению его серых глаз, по жесткому тону его голоса я сразу почувствовал, чем тут пахнет. Еще так недавно перенесенные побои за такие же вот отметки не успели остыть в моей памяти.

— Ну?! — повторил отец.

Я спокойно стал объяснять ему, что тут, вероятно, за письменную работу по арифметике поставлена единица, говорил, что вообще трудно бывает решить замысловатую задачу, что брат еще маленький, а что на замечание не нужно обращать особенного внимания, так как шалят все дети.

— Позови сюда Адю! — с прежней злобой проговорил отец, полуравнодушно выслушав мои разъяснения. Сердце у меня сжалось, по телу забегала знакомая дрожь. Иду в детскую, зову брата, но нахожу его не сразу: тот спрятался за шкаф и стоял там, пока я его не нащупал.

— Я здесь, Федичка, я боюсь, меня бить будут, — заговорил он вполголоса, а сам весь дрожит.

Мой мозг пронизал вдруг какой-то свет, такой ослепительный, что в глазах заискрилось.

— Пойдем, Адя, не бойся, — говорю я ему смело, а сам все-таки дрожу.

Тот слегка упирается, проходя темным коридором, шепчет: «боюсь», и я веду его спокойно за руку, и мы входим вместе в кабинет.

— Ты, что же, решил мне единицы теперь приносить? — вскричал отец, поднимаясь с места.

Ребенок затопал в испуге своими сапожками по ковру.

— Я, папочка, не буду больше, прости мне, — заговорил он прерывающимся голосом.

Но отец рванулся в его сторону и схватил было его за плечо. Тот отскочил слегка в сторону.

— Я не буду больше, — пропищал он.

— Стой, папа! — закричал я.

— Ты его не будешь бить!

— Что ты сказал? как ты смеешь?! Это мой сын, а ты смеешь итти против отца?!—заревел отец.

Но я не испугался, а встал между ним и братом и говорю:

— Перестань, отец, злиться; нельзя бить ребенка, я этого не позволю; нападай на меня, а его я не позволю бить!

Отец стал тяжело дышать, очевидно, ошеломленный от моего поведения. Я воспользовался этой передышкой и обернулся к мальчику.

— Иди, Адя, в детскую и готовь уроки, — говорю ему.

Тот как-то боком, недоумевая и боязливо поглядывая на отца, скрылся в дверях, а я обернулся к отцу, и мы долго еще стояли друг против друга, то глядя друг другу в глаза, то переводя взгляд на сторону, когда больно становилось глазам: он смотрел на меня злобно-удивленно, а я на него уверенно и спокойно.

—Ты смеешь подрывать престиж отца? — проговорил он сердито, но менее злобно.

«Престиж разве в этом заключается?» — подумал я про себя.

— Нет, папа, я хочу, чтобы тебя любили дети; они все сироты, у нас нет матери; ты у нас один; нельзя бить беззащитных детей,— отвечаю я; при последних словах голос мой заметно вздрагивает.

Отец поднимает к лицу руку, закрывает ладонью свои глаза и стоит, конвульсивно начиная вздрагивать в плечах. Я не выдерживаю, бросаюсь к нему, обнимаю его за плечи и, плача, говорю:

— Папочка, прости меня, но будь добрым, мы все тебя любим.

Тот глухо всхлипывает, потом бессильно освобождается от моих объятий и произносит:

— Оставь меня, Федя, одного, я расстроен, успокоюсь один.

Я медленно ухожу в свою комнату, зажигаю лампу, но еще долго не могу успокоиться и хожу из угла в угол по комнате. Потом принимаюсь за уроки.

После описанной сцены отец был сух со всей семьей, старался не замечать за столом Адриана, а со мной обходился холодно. Так прошло несколько дней. Не успело улечься впечатление от этого случая, как последовал второй, более сложный инцидент. Брат Всеволод редко бывал со мной откровенным, держался от всех в стороне, водился со своими товарищами и жил в собственной маленькой комнатке. Из гимназии мы редко возвращались домой вместе, а тут как-то смотрю, он идет рядом со мной какой-то задумчивый, с опущенной головой.

— У меня, Федя, нехорошее дело случилось, — говорит он вдруг, не поднимая и не поворачивая головы.

— Что такое?

—А вот, видишь, в гимназии, на уроках ужасно все обыкновенно шалят,—ну, и я в шалостях не отставал; особенно шалим на уроках французского языка. Француз суетится, выходит из себя, а мы его дразним и доводим до белого каления. Он на нас жалуется, но все нам как-то сходило с рук. Третьего дня особенно все расшалились; француз стоял на кафедре, топал ногами и стучал кулаком по журналу; в руках у меня был деревянный брусок, отвалившийся от моей парты; я им стучал под своим столом, а француз еще больше от этого приходил в ярость, не зная точно, кто стучит. Вдруг, в другом конце класса кто-то пропел петухом. Француз мигом отвернулся от меня, вскрикнул, а я воспользовался этим мигом и швырнул брусок вперед, метя в доску, но попал им по передней пустой парте, от которой брусок отскочил, подпрыгнул в воздухе и, пролетев близко от головы француза, хлопнулся об пол. Учитель с криком: «Убить меня хотят!»— выбежал из класса и побежал к директору. Заварилась каша. Пришлось мне сознаться, что швырял я. Но мне не верят, что я неумышленно швырнул в француза. Директор потребовал сегодня, чтобы я пригласил к нему для переговоров отца.

Брат замолчал. Я задумался: «Вот, нелегкая, новое дело заварилось. Как же теперь быть?»

— Ты, Федя, предупредил бы отца, а то он такой вспыльчивый, а я, право, не виноват, что так случилось,—говорит он и просительно смотрит мне в глаза.

Я обещаю ему переговорить с отцом. После обеда стучусь к нему в кабинет. Вхожу; он лежит на кушетке.

— Что тебе?

Я обстоятельно, со слов брата, стал объяснять случившееся.

— Ты, папа, побывай завтра в гимназии, переговори с директором; вероятно, дело это уладится, только не сердись,—заканчиваю я.

— Ну, это мое дело, как к этому относиться,—отвечает тот сердито. Я ухожу.

Когда, на другой день, я вернулся, несколько запоздав, домой к обеду из гимназии, то уже на лестнице услышал громкие возгласы отца.

— Как смеешь ты, понимаешь ли ты, как нужно себя вести?!—говорит повышенным голосом отец, когда я проходил к себе по коридору.

— Я, папа, тебе объясню, ты не сердись,—отвечает брат.

— Как! —кричит отец.

Я мигом сбрасываю с себя шинель и иду в кабинет.

— Это чорт знает, что такое! — встречает меня диким возгласом отец.

— Тут не об одном французе идет речь: директор мне передал массу его проказ,—тут и курение табаку, и свистки, и списывание задачи, и еще бог знает что. Ты меня в гроб сгонишь! —заканчивает отец, хватает брата за плечи, сбрасывает на ковер и начинает душить.

— Вот твое поведение, вот оно! —вопит он в исступлении.

Брат барахтается на ковре, но совершенно бессилен освободиться из-под грузной туши отца.

Я мигом нагибаюсь, подвожу обе свои руки под левую мышку отца, натуживаюсь и с силой, которой сам от себя не ожидал, валю отца на спину и тем освобождаю брата. Тот мгновенно вскакивает на ноги и убегает вон. Отец силится подняться, но я надавил рукой и коленом на его грудь и жму его к полу.

— Успокойся, папа,—говорю я задыхаясь.

— Подлец он! Пусти меня! Догоню его! Ах ты! как! —раскрыв глаза, вопит отец, но тут же закрывает их, в бессилии выдыхает воздух и пузырьками при этом пускает изо рта слюну.

Чувствуя, что он безопасен теперь, я поднимаюсь с полу, бегу за водой, наливаю стакан и подношу ему. Тот жадно пьет, стукаясь зубами о стекло, дрожит. Потом я поднимаю его с пола, сажаю тут же на кушетку; он ложится, а я сажусь на стуле возле. Через минут десять он говорит:

— Дай папиросу!

Зажигаю, подношу ему

— Кури и ты! —говорит он.

С полгода до этого он разрешил мне курить табак, но не любил, когда я это делал в его присутствии. Закурил и я. Тонкой струйкой пуская вверх дым и не поворачивая головы, он вдруг говорит:

— А это хорошо, что ты остановил меня, а то бы я его задушил. Молодец ты все-таки, Федя! Встань, дай посмотреть на тебя, какой ты.

Я встаю на ноги. Он медленно смеривает меня своим орлиным взором, потом обхватывает сильной рукой вокруг моей хрупкой фигуры и привлекает к себе. Я нагибаюсь и целую у него свободную руку.

— Нет, дай тебя в губы поцелую, —говорит он и своими жесткими губами прилипает к моему юному, еще безусому рту.

У меня на глаза наворачиваются слезы. Сажусь на стул. Молча продолжаем курить. Так проходит несколько минут.

— Ведь, вот, если трезво, спокойно обдумать, то все эти проделки Волины ерунда, —говорит медленно, как бы сам с собою отец.

Я молчу.

— Глупости все это. Никакого француза он и не думал убивать. Да и остальные шалости все какие-то пустяковые. Директор меня давеча как-то ошеломил, наговорил мне сразу чего-то много, вот я и...—он не договорил.

— Да, папа, нужно спокойнее относиться к этим учительским жалобам, а Волю я буду урезонивать, он не будет так шалить. Ты, папа, усни, успокойся. Потом проснешься—будешь обедать, а я пойду с детьми кушать.

Отец еще раз пригнул меня к себе, поцеловал и с дрожью в голосе произнес:

— Спасибо, родной!

Я уходил от него растроганный. С тех пор мы стали с отцом сближаться. По воскресеньям я ходил с ним иногда осматривать облюбованные им дома на окраинах города, а иногда, в хорошую погоду, мы уходили с ним дальше гулять к соседним усадьбам. Он показывал мне на садики, огородики, домики, вслух рисовал расположение комнат, вычислял выгоды от покупки того или другого участка, спрашивал моего совета. Вначале я с интересом относился к его проектам, но скоро охладел к ним,—уж очень он бросался от дома к огороду, потом, к усадьбе, затем к другому дому, на другом конце города, ни на чем не останавливаясь и все только комбинируя. Интересовало меня другое: мне хотелось глубже поговорить с ним, хотелось с ним подружиться, высказать ему свои опасения относительно своей болезни, поговорить о смерти, о гимназическом укладе, о семье, о государстве...

Вскоре мы вместе начали проводить вечера у него в кабинете и засиживались часто до глубокой ночи, все продолжая курить и разговаривать. Начал с откровенности как-то он сам.

— Вот, ведь, Федя, как не везет мне в жизни. Сам видишь: три раза был я женат, и все три жены мои умерли, и я одинок и с большой семьей. Трудно как, все маленькие.

— Что же, будем биться как-нибудь, я старший, уже начинаю крепнуть, буду помогать тебе воспитывать детей, только вот болезнь моя...

— Да, а что говорят доктора?

— Говорят, что молодой организм, вероятно, справится с сифилисом быстрее, но, с другой стороны, я еще только расту, а болезнь

подтачивает мои соки. Я вот почти всегда дрожу, всегда мне холодно, боюсь всего, будто гниль в себе какую-то чувствую.

— Все мажешься? — спрашивает отец.

— Да, папа, вот ртутная мазь к концу подходит, я бы тебя попросил зайти по дороге в аптеку и заказать новую порцию втираний, вот по этому рецепту, без фамилии, а то мне в аптеку итти неловко.

— Хорошо, положи мне на бумаги, сверху, вот у портфеля.

В другой раз мы вместе принялись готовить ванну для меня. Водопровода не было, от прислуги приходилось скрывать назначение ванны, а в баню вымазанным мазью было итти неловко, да и далеко, боялся простуды. На морозе, по занесенному снегом двору мы из колодца таскали ведрами воду на кухню. Я при этом все озирался на кладбище, на котором во многих местах все-таки теплились лампады.

«Спи, добрая женщина, — думал я про себя, мысленно выискивая могилу мачехи. — Ох, и холодно в земле сейчас! А вот ту же воду из земли подле тебя черпаю. Я буду сейчас обмывать свое грязное, зачумленное тело, а ты спишь. Нам бы поменяться: ты так нужна семье, дети тебя ждут, вот сейчас крестились и молились, стоя на коленках на своих кроватках, чтобы ты пришла поцеловать их ночью, молились о царствии небесном для тебя, а я бы, грязный, больной, вместо тебя умер, никому теперь ненужный, и лежал бы вот сейчас в земле... Но холодно было бы как, уф!», задрожал я всем телом, дуя себе в обмерзшие пальцы.

— Что ты там остановился? — говорит мне издали отец — давай крутить колесо, подставляй ведра.

Потом наливаем в ванну кипяток, разводим воду, отец начинает смывать мочалкой и мылом темные налеты на моем теле.

— Да, ужасная болезнь, — говорит он. — Я вот не мог бы переносить ртути.

— Да, у меня, папа, все время слюна набивается во рту и вкус металла противный навяз в зубах, — говорю я, корчась под сильной рукой отца, вооруженной мочалкой.

— Ну, терпи, будешь здоров, — говорит он.

Я недоверчиво поглядываю искоса на него и молчу.

Раз как-то, глубокой ночью, засиделись мы с отцом в кабинете. Выл ветер, за окном была вьюга, стекла были почти сплошь заметены снегом извне, точно сахарным пушистым песком. В уголочек одного стекла все-таки проглядывала чернота ночи, в сторону кладбища. Я сидел сбоку от письменного стола, курил, часто поглядывал на этот уголочек, сквозь который просвечивал с кладбища все же один огонек. Было жутко от завывания ветра в трубе.

— Ну, а что, ты все еще имеешь намерение поступать в офицеры? — прервал вдруг довольно долгое молчание отец.

Я встрепенулся, отвел глаза от окна и посмотрел на отца.

— Да, папа, чувствую какое-то сильное тяготение к военной службе. Вот и мама мне всегда советовала быть офицером...

— А что тебя туда тянет? — спрашивает отец.

— Что? сам хорошо не знаю. Форма мне нравится, гимнастика, а потом я люблю солдат; я хочу всегда быть в их гуще, учить их, читать им вслух. Они такие все забитые, а офицеры, все мне знакомые, такие все глупые, гордые, не живут с солдатами. Я хочу стать другим офицером, властным, добрым!...—говорю я.

— Ну, это тебе не удастся,—усмехается отец.—Ведь, ты знаешь, там пьянство, картежная игра, да и времени у тебя не будет учиться с солдатами.

— Почему? ведь офицеры почти ничего не делают, болтаются только зря; что касается пьянства, то я не буду пить, мне нельзя. Вот только вопрос: буду ли я в жизни сильным и здоровым,—на военной службе нужно здоровье.

— Ну, там видно будет. Засиделись мы. О-о, два часа ночи уже. Иди спать, покойной ночи.

Целую отца, ухожу в свою комнатку и долго еще в постели, ворочаясь с боку на бок и кутаясь в одеяло, и от холода и чтобы не слышать пронзительного ветра за окном, все думаю о том, каким я буду офицером, как буду обходиться с солдатами, любить их...

Между тем в гимназии к брату Всеволоду и ко мне стала придираться администрация. Началось с того, что директору не понравилось, что я хожу на каток в светлой форменной тужурке, которую перешил себе из отцовской военной, висевшей в шкафу без употребления; к ней были нашиты форменные петлицы и светлые пуговицы.

Никто из учеников такой тужурки не имел; по закону, как стал доказывать мне директор, тужурок гимназистам носить не полагается. Я отвечал, что тужурку мне разрешил сшить отец и что в шинели неудобно бегать на коньках.

— Так что, что отец, так что, что отец? А на катке можете снимать шинель, как это делают другие, если вам неудобно,—говорил запальчиво директор.

— Я зябну без шинели, а тужурка на вате, — отвечаю.

— Он зябнет, ишь, какой чувствительный; не возражать!

У меня был опыт в недавнем прошлом с Дороговым, и потому я уже не боялся этого полицейского надзирателя и продолжал ходить на каток в тужурке. К брату, Всеволоду, очевидно, за совершенное «покушение» на француза, стали придираться по поводу разных мелочей и между прочим за то, что у него до сих пор не было серого покроя формы, и он донашивал, привезенную из прежней гимназии, черную. Придирки стали учащаться, полицейско-административный персонал начинал сильно раздражаться, и то мне, то брату стали делать заявления о том, что необходимо вызывать отца для переговоров. Я передавал отцу эти приглашения; тот расспрашивал о поводах, подсмеивался над моими рассказами и велел передавать директору, что считает излишним говорить с ним о пустяках, и что если

очень необходимо, то пусть письменно ему изложат в чем дело. Такой поворот в настроении отца мне очень нравился: я чувствовал теперь, что имею в его лице друга, а не прежнего деспота, и притом я все больше начинал убеждаться в том, что отец мой очень интересный и цельный человек; я стал ценить то доверие, которое он мне оказывал, радовался тем вечерам, когда он приглашал меня к себе и бывал со мной разговорчив и откровенен.

В декабре разнесся слух о каком-то восстании рабочих в Москве. Всюду заговорили о том, что все фабрики в этом городе и вообще все работы прекратились, что рабочие строят баррикады на улицах и сражаются с войсками, которые со страшной жестокостью подавляют восстание. Слово «баррикады» было совершенно ново для меня. Газет я тогда еще не читал, ничего в политике не понимал, но все же стал усиленно расспрашивать отца, что значат эти явления. Он в беседах со мною как-то не любил касаться этого вопроса, мялся, коротко разъяснял, что это темные злонамеренные люди стараются посеять смуту в России, что московские рабочие это лентяи, которые стремятся к тому, чтобы совсем не работать и на первое время предъявляют требование, чтобы им работать только 8 часов, но что этому не бывать, и что все это ничего: скоро их заставят вернуться к работам и продолжать по-старому; но я замечал в лице отца, когда он заговаривал об этом, какое-то беспокойство, подергивание в скулах и чувство неловкости.

Я пока не вдавался в подробности, он скоро прекращал эти разговоры и переходил на другие темы.

Как-то за обедом отец из насупленного и мрачного вдруг стал веселым и начал рассказывать, обращаясь при этом то ко мне, то к брату:—

— Шуты они! Ну, и взгрел я его! Представьте себе: выхожу из губернского правления, схожу по ступенькам подъезда и вижу мельком, что справа, от собора, издали спешит ко мне ваш инспектор. Я сразу сообразил, что это опять о каких-нибудь ваших проделках он со мной заговорит, решил уклониться от встречи, быстро сошел на тротуар и зашагал в противоположную сторону. За собой в отдалении слышу меня настигающие шаги. Я быстрее, шаги за мною тоже ускоряются. Я почти бегом, и тот бегом. Вижу, не отвертишься, замедляю ход,—он настигает меня, запыхавшись, здоровается и начинает:

— Ах, Мартын Лаврентьевич, я еле догнал вас; а у меня к вам поручение от нашего директора. Вот, видите ли, мы вас хотели вызвать сегодня в гимназию для переговоров, но директор решил не отрывать вас от занятий и поручил мне с вами переговорить.

— Да, в чем же дело? — перебиваю я его.

— А, вот, насчет ваших сыновей, — это становится невозможным, их поведение отвратительно. Представьте себе, ваш второй, Всеволод, что натворил вчера. Директор сидит в парикмахерской Михальского и бреется; отворяется дверь и директор в зеркало видит,

как входит с тросточкой в руках ваш Всеволод, вешает палку на вешалку, раздевается и садится себе за столик. Вы подумайте, какая дерзость! Директора точно кипятком облило, он заорал на него и велел ему сейчас же удалиться...

Я смотрю в лицо инспектору равнодушным взглядом, потом спрашиваю:

— А о старшем что вы можете сказать?

— А, вот, старший, представьте, несмотря на предостережения директора, продолжает себе ходить, в недозволенной законом тужурке!

— Ну, вот что, — перебиваю я его, — пойдите к вашему директору и передайте ему от моего имени, что вы и ваш директор — революционеры.

— Как! — вспыхивает тот, — помилуйте, Мартын Лаврентьевич, мы с директором люди вполне благонадежные и преданные престолу и отечеству, как вы можете так говорить о нас!?

— Передайте вашему директору и сами уразумейте, что и вы, и ваш директор своими мелочными придирками то к пуговицам, то к тужуркам, то к тросточкам выращиваете ненавистников государства и закона, вы служите рассадниками, откуда выходят революционеры: дети делаются ими под вашим влиянием, а, значит, вы—враги государства, вы и есть революционеры! — закончил я.

— Помилуйте, вы оскорбляете нас! мы блюстители закона и нравственности в подрастающем поколении, а вы нас обвиняете...

— Ну, я вам все сказал; прощайте и передайте директору то, что я вам сказал,—проговорил я, холодно пожал ему руку, быстро повернулся и ушел от него, а он остался стоять озадаченный. Ловко я его!?— хвастливо закончил отец и посмотрел нам в глаза, ожидая одобрения.

Всеволод подскочил со стула и залепетал:

— Папочка, ты это здорово, как я рад; я боялся, что за тросточку ты рассердишься: она не моя, а одного чиновника знакомого,—я взял ее поносить на прогулке с ним, да и забыл у себя в руках,—вот так и вышло в парикмахерской.

Маленький Адриан недоверчиво исподлобья, как-то бессмысленно глядел на отца, но довольный, что тот в хорошем настроении. Я молчал и думал про себя. Многое для меня было ново в рассказе отца. Самый оборот разговора с инспектором наводил на размышления; а потом, это слово «революционеры». Так ли это? Ведь это позорное слово; так называют в моем присутствии знакомые чиновники и офицеры преступников, которые бросают бомбы, сеют смуты, производят грабежи, насилие и кражи. И вдруг, из меня, так любящего порядок и желающего самому стать офицером может выйти, исходя из отцовского объяснения, революционер? Тут что-то не так. Об этом нужно подумать. Во всяком случае, я радовался тому, что инспектор с директором получили по носу, и произнес:

— Здорово ты их, папа! Теперь долго не будут приставать.

Невдолге после этого случая с инспектором произошли в гимназии три инцидента, два из которых навсегда останутся в моей памяти. Во всех трех я играл выдающуюся роль, и это имело большое влияние на последовавшее развитие моего, до этого времени еще спавшего интеллекта. Буду рассказывать о них по порядку. Первый случай заключался в следующем. Между учениками старших классов пронесся слух, что в город вернулся бывший в прошлом году в этой гимназии и переведенный в седьмой класс, ученик Трамоцкий, сын командира местного драгунского полка. С началом учебного года родители перевели его учиться куда-то в другой город, а теперь он вдруг вернулся и, по слухам, намеревается снова вступить в местную гимназию. Почему вдруг заволновались ученики? Оказывается, в прошлом году во время польской забастовки, бастовавшими учениками была произведена национальная демонстрация: они прошли стройными рядами по главным улицам, пели свои польские песни, а потом направились к городскому парку. Когда они к нему подошли, и передняя колонна уже вступила в ворота, внезапно сбоку на демонстрантов наскочил отряд конных драгун и стал нагайками разгонять гимназистов. Часть их при этом разбежалась по городу, а другая часть, меньшая, вбежала в парк и рассыпалась по аллеям. Драгуны на лошадях тоже вскочили в парк. Оказалось, что отрядом руководит, тоже верхом на лошади, гимназист Трамоцкий, отец которого ярый ненавистник поляков. Теперь этот гимназист мчался в догонку за своими вчерашними товарищами, указывал солдатам на тех из них, которые, по его мнению, были главарями забастовки, натравливал, таким образом, солдат на безоружных и пеших юношей, а те пшорили коней, настигали указываемых Трамоцким и избивали их тут же своими нагайками. После этого случая оставшиеся русские одноклассники Трамоцкого прекратили с ним знакомство, стали язвить над ним, велели ему отдельно от прочих сидеть в классе, словом, сделали положение того невыносимым для него.

Видя это, родители, по совету гимназического начальства, убрали своего сынка; и вот, с началом года его в городе не стало. Теперь он появился. Оказывается, ему скучно стало жить вдали от родителей, а последним показалось, что прошлое предано уже забвению, и вот они вызывают к себе сына и подают прошение об обратном его приеме в местную гимназию. Действительно, через несколько дней тот является в гимназию и помещается в седьмой класс. Одноклассники его возмущаются и предлагают собраться вместе ученикам последних четырех классов для обсуждения создавшегося положения. Директор, узнав о готовящемся собрании, принимает меры к тому, чтобы оно не могло состояться. Понятно, родители Трамоцкого через администрацию гимназии и через некоторых родителей, у которых сыновья одноклассники с их сыном, начали вести явную агитацию, дабы нейтрализовать могущий произойти протест со стороны наиболее бойких учеников. Во мне с новой силой всколыхнулось чувство справедливости. Я не сочувствовал полякам, но и не осуждал их за забастовку считая ее их частным национальным делом, но чтобы товарищ мог травить товарищей, я этого не допускал, возмутился до крайней степени и, хотя тот был классом старше меня, да в придачу меня в городе при всем описанном не было, я встал горой, заметался по всем классам и созвал сходку в парке поздно вечером. Мной был изобретен особый пароль; стоя в воротах парка, я опрашивал каждого входившего гимназиста. Вечер был темный, небо свинцовое, безлунное и беззвездное. На середину площадки в глубине парка собралось человек шестьдесят. Не дожидаясь того, чтобы кто-нибудь заговорил, не зная даже о том, что в таких случаях необходимо вначале выбрать председателя, я взобрался на одну из скамеек и заговорил. Во всем теле, несмотря на мороз, я чувствовал, как разливается приятный жар. Я говорил о том, что пребывание Трамоцкого недопустимо, что его нужно выгнать из гимназии, как подлеца, что на этом необходимо настаивать и сделать это, особенно в пику директору, который явно хлопочет о Тромоцком. Я говорил первый раз в жизни перед столькими людьми и так долго, сам невольно увлекаясь. Я вспоминал при этом, что было год тому назад на льду в другом городе, как я тогда восстал против подлого офицера. Я сознавал, что это уже второй случай в моей жизни, когда я выступаю публично за общественную справедливость, и что сам я нисколько в этом не заинтересован. Меня слушали молча, изредка перебивая то словами одобрения, то каким-то огульным мычанием. Я наговорился, кончил и спрыгнул в снег. Начался галдеж, заговорили все сразу в один голос, но постепенно порядок водворился, стали говорить короткие речи некоторые из одноклассников Трамоцкого. Оказалось, что у него есть защитники, которые, хотя и не оправдывали его поведение в прошлом, но настаивали на помиловании его, говоря, что тот раскаивается в совершенном. В конце концов, порешили на том, что Трамоцкий публично перед учениками старших классов обязан дать объяснение, почему он так поступал и как он сам относится к совершенному. О нашем решении был осведомлен директор. В актовом зале было устроено заседание. Выступил Трамоцкий, рыжеватый рослый, плечистый, веснушчатый, с грубым некрасивым лицом, парень лет восемнадцати. Заикаясь и краснея, он заявил собравшимся, что считает себя в праве учиться в той гимназии, какую выбирают для него родители, что поляков он ненавидит, как врагов отечества, но что он слишком погорячился и в будущем обещает быть осторожнее. Вел он себя во время короткой, сбивчивой речи развязно, говорил резко. Ученики обещали директору подумать, как следует поступить; тот настаивал на том, чтобы решение было вынесено тут же в его присутствии; ученики не соглашались. После этого была устроена сходка в парке. Я стал опять горячо доказывать что такого подлеца иметь своим товарищем нельзя. Потом говорили снова его защитники. Чашка весов мнения одно время клонилась, было, в пользу Трамоцкого. Тогда я в последний раз выступил; кровь прилила к моей голове. Был снова темный, мрачный, поздний, зимний вечер; я не видел лица учеников, только изредко то или другое лицо

вдруг в темноте освещалось красным отблеском от папиросы, после чего огонек отскакивал, а лицо тонуло в темноте. После последнего моего слова приступили к голосованию, против пятерых воздержавшихся, решено было не соглашаться на оставлении в гимназии Трамоцкого. Я торжествовал. Родители этого добровольного полисмена вздумали, было, поднимать дело о незаконности бывших сходок, о привлечении к ответственности главарей, в том числе и меня, но ничего из этого не вышло: Трамоцкий из гимназии удалился туда, откуда приехал.

Второй из инцидентов разразился вскоре после первого.

Математик Баревич с некоторого времени стал придирчив ко всему классу, ставил часто двойки, сбивал у доски отвечавших учеников, едко издевался при своих обращениях к ученикам. Человек этот был уже пожилой, лет пятидесяти слишком, холодный, бесстрастный, вечно затянутый с верху до низу в чистенький сюртук, с голосом резким, деревянным, расположенный к полноте, несколько низковатого роста, так что для увеличения оного носил высокие каблуки, которыми громко постукивал при ходьбе. Любимым способом насмешки теперь у него стал следующий. Ученик сбивается, мнется у доски. Баревич молчит, потом несколько раз к ряду с расстановками деревянным голосом словно постукает.

— Ну!—Ну!—Ну!

Тишина.

— Ты видел лентяя? спрашивает вдруг Баревич своим резко польским акцентом.

— Нет, Доминик Доминикович,—отвечает ученик.

— Ну, так после урока мы пойдем с тобой в мой кабинет (он был секретарем педагогического совета), там у меня висит зеркало, ты посмотришь в зеркало и увидишь лентяя,—произносит свою теперь обычную длинную фразу Баревич, почти одним духом, бесстрастно, размеренно и желчно.

Класс слегка смеется; осмеянный краснеет и мнется у доски. Баревич равнодушно выводит в журнале свою двойку или единицу и вызывает следующего.

Эти устные ответы были бы еще с грехом пополам терпимы; но вот, заморил он всех своими бесчисленными, внезапными, без предупреждения, письменными работами, сперва по одной алгебре, а потом и по геометрии.

Выдумывал он замысловатые условия задач сам у себя дома, а не брал из задачника. Придет в класс, возьмет в руки мел, станет у доски, бесстрастно напишет наизусть условие задачи, скажет: «Решайте!», стряхнет с ладони мел и начнет себе прогуливаться по классу. Ученики начинают переглядываться, сперва берутся было за решение, но ничего у большинства не выходит, и вот сидят все весь час молча, а тот себе гуляет и поглядывает равнодушно то на потолок в углы, то в окна. Час проходит. Он также равнодушно собирает тетради и уходит, унося их с собой под мышкой. Через два—три дня он возвращает нам тетради, в которых почти все находят по двойке, или по единице, и только первые ученики видят у себя тройки. Все недоумевают, а он продолжает свои эксперименты.

Злобно стал я в душе относиться к этому истукану. После его уроков я стал расспрашивать, как было с ним в прошлом, и что думают ученики предпринять, чтобы прекратить этот двоечный ливень. Мне отвечают, что в прошлые годы было то же, а что это у него такое настроение наступает периодами и длится иногда непрерывно по полугоду, и что ничего не поделаешь, придется и на этот раз покориться очередной его прихоти. Меня такое объяснение совершенно не удовлетворило. Сам я добросовестно проходил к каждому уроку теорию по математике, но у меня по письменным работам шли непрерывные двойки. Я очень боялся за себя, как бы он мне у доски не продекламировал свою сказку «о лентяе». Я наперед предчувствовал, что тогда будет скандал, что я ему что-то ужасное отвечу, и тогда меня исключат из гимназии. Поэтому к его урокам я особенно усердно подготавливался. Но чаша моего терпения была вдруг переполнена совсем из другого источника.

Как-то во время устных расспросов у доски, Баревич вдруг поворачивается лицом к классу, обводит всех учеников испытующим взглядом, потом закладывает руки за спину и быстрой походкой идет, как мне показалось, на меня. Холодок пробегает по моей спине, но, не доходя шага на три до моей последней парты, он вдруг останавливается, легка поворачивает туловище в левую сторону и строго спрашивает:

—Тупталов! Положи на стол, что читаешь под партой у себя!?

В углу предпоследней парты встает небольшого роста сухощавый ученик, стоит и испуганно смотрит в лицо Баревичу.

— Я тебе сказал, выложи на стол, что сейчас читал,—повторяет сухо педагог.

Тупталов меняется в лице,—то бледнеет, то заливается румянцем, мнется, потом нагибается, достает из-под парты какую-то книгу и кладет ее на стол. Баревич берет в руки книгу, начинает покачивать головой, приговаривая и при этом:

— Хорошо, хорошо, так ты на моих уроках историю учить выдумал? Так, так понимаю. Ну, вот что. Лазов!

Рядом сидевший с Тупталовым рослый плечистый блондин встает с своего места, недумевая, зачем его называет Баревич.

— Садись, Лазов, раскрой свою черновую тетрадку и пиши под мою диктовку.

Ученик, еще более озадаченный, исполняет приказание педагога.

— Пиши!— Доминик Доминикович сказал такого-то числа и такого-то месяца, что Тупталов останется по математике на второй год в шестом классе. Написал?

— Ну, подпиши свою фамилию, а ты, Тупталов, помни это: как бы ты ни учился, ни старался теперь, все равно будешь сидеть в этом

классе второй год,—закончил Баревич и защелкал своими высокими каблуками, отходя назад к кафедре.

— Доминик Домникович, простите!.. начал было Тупталов просительным голосом.

— Нет, нет, все напрасно, и не проси,—бросил ему, не оборачиваясь, на ходу Баревич и стал продолжать спрашивать урок стоявшего у доски.

Вся описанная сцена прошла на моих глазах в трех шагах от меня. Сперва я с интересом стал наблюдать ее, но уже через минуту почувствовал смущение, стал оглядывать растерянные лица учеников, потом точно иголки впились в мое тело, и я с трудом сдерживал себя, чтобы не закричать, что так нельзя, что это жестокость, но смолчал, в одно мгновение осознав, что так не будет мною оставлено и это дикое пророчество не исполнится. После урока я сразу громко заговорил о случившемся, вокруг меня собрался весь класс. Всем надоел этот деспот,—мое возмущение разделяли все, но тут же начали разъяснять, что в прошлом неоднократно подобные пророчества делались Баревичем и всегда исполнялись в точности. Как всегда в щекотливые моменты, и тут нашлись ученики из трусливых, которые своей тупой покорностью замяли всеобщее возмущение, и все разошлись в разные стороны. Это было почти накануне роспуска на Рождественские каникулы. Я затаил в душе злобу и дал самому себе слово отмстить за этот случай деревянному педагогу, когда возобновятся занятия.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Медленно проплыли рождественские праздники, со скучными вечерами, выпивками, картежной игрой и елками. Наступил новый 1906 год. Начались опять занятия. Декабрьское восстание рабочих в Москве, как мне говорил отец, было совершенно усмирено. Но вот опять стали распространяться тревожные слухи о том, что по всей России начались аресты, во многих местах объявлено военное положение, что многих людей стали сажать в тюрьмы, приговаривают к смертной казни и расстреливают. Услышал я также, что стали открываться какие-то новые общества «союзы русского народа» и начинаются гонения на евреев. Отец был в отлучке, на какой-то ревизии по губернии, и я не мог с ним поговорить в самом начале об этих новых тревожных явлениях. Иногда ближе к переулкам я замечал группы евреев в длинных лапсердаках. К одной из таких кучек я подошел один раз, но на меня стали посматривать косо, особенно молодые евреи, разговоры затихли при моем приближении и продолжались вяло, и то на еврейском жаргоне, которого я не понимал. Одно я чувствовал, гуляя теперь по городу, что у всех какой-то растерянный вид и из этого стал подозревать, что тут что-нибудь опять сложное произошло.—«Поговорю с отцом»,—решил я и на этом полууспокоился.

В гимназии, на перемене, Нежин заговорил о том, что так, мол, и надо расстреливать негодяев. Еврей Таболицкий оборвал его, спросив, с чьих слов он это говорит.

— Отец мне все объяснил (председатель съезда мировых судей, напоминаю читателю);—ответил Нежин,—да и все говорят тоже самое,—добавил он.

— Это потому, что он чиновник,—ответил резко Таболицкий.

— А ты как думаешь?—спросил он тут же, обращаясь ко мне и присаживаясь на мою скамейку.

— Не знаю, не понимаю,—говорю.

— Ну, так вот, и не слушай тех, кто будет говорить, что революционеров расстреливают,—это беззащитный народ, бедняков убивают,—продолжал он.

— А чего же они восстают и бунтуют?—спрашиваю я.

— Потому что они бедные люди, им есть нечего,—объясняет тот.

Начавшийся урок Баревича прервал нашу беседу. Опять задал тот наш письменную работу, и опять никто задачи не решил. В воздухе ли разлилось к этому времени какое-то напряжение, или так уж мои надорванные нервы не выдержали, только на половине урока я вдруг громко, будто про себя, произнес:

— Такой задачи и решить невозможно!

Я сам даже испугался своего голоса, вдруг резко прозвучавшего в безмолвном воздухе класса. Мгновенно все головы повернулись в мою сторону. Баревич перестал гулять и тоже смотрел на меня.

— Почему вы думаете, что задача нерешима?— спросил он полунасмешливо, полуудивленно.

— А потому что уже который раз весь класс подает пустые тетради и никто не может решить задачи,—отвечаю я.

— Ну, это еще не доказательство нерешимости, равнодушно проговорил педагог и возобновил свою прогулку.

Класс как-то вдруг повеселел. Я замотал головой, делая немые жесты многим из учеников, приглашая их бросить задачу и ничего не делать. Действительно, все в безделии и досидели до конца урока, а потом подали Баревичу пустые тетради. Тот собрал их и ушел, а я тут же стал с жаром доказывать, что такое издевательство необходимо прекратить. Меня поддержал Таболицкий, Ивицкий и некоторые другие'

— Нужно заявить ему от имени всего класса, что мы требуем изменения его поведения, —доказывал я.

— Но кто ему об этом заявит? ведь того исключат из гимназии,—возражали мне.

— Нужно это сделать в письменной форме,—заявил Таболицкий.

Все согласились. Тут же на листе бумаги стали вырабатывать текст письменного обращения к Баревичу. Окончательную редакцию класс предоставил выработать Таболицкому и мне; на этом, однако, не покончили.

— По-моему, нужно сделать так,—начал опять я.—После завтра, перед уроком Баревича, положим ему на кафедру наше письменное обращение, а сами будем продолжать стоять; пусть он прочтет и нам ответит, как он намерен вести себя впредь!

Предложение мое тут же было принято большинством, хотя более трусливые и не соглашались сразу и предлагали по почте отправить обращение ему на квартиру, а там видно, мол, будет, изменится он, или нет. Последнее предложение было провалено и осталось одно мое.

Весь вечер следующего дня мы с Таболицким сочиняли на квартире у Ивицкого текст обращения. В окончательной форме оно состояло из пяти пунктов, в которых говорилось о том, что мы просим его прекратить издевательства, относиться корректно, считаться с уровнем успешности учеников в письменных работах, а в конце

написали, что если он не пожелает выполнять наших условий, то мы больше посещать его уроков не будем. Составив таким образом черновик и поручив Таболицкому переписать к завтрему начисто, мы разошлись. Наутро, перед злополучным уроком все были настроены нервно; сидевшие на первых партах, в большинстве особенно хорошо успевавшие ученики из маменькиных сынков, которым, впрочем, за последнее время по математике тоже не повезло, волновались всего более и начали было поговаривать о том, что текст составлен в слишком резкой форме и что неловко будет выступать так открыто. К тому же оказалось, что Таболицкий, по своему усмотрению, переписал начисто текст красными чернилами; последнее обстоятельство многим не понравилось, в том числе и мне, но делать за краткостью времени было нечего, передних удалось быстро уломать, так как в данном вопросе их избалованное пятерочное самолюбие было особенно сильно уязвлено двойками самодура, и с красными чернилами, и с открытым протестом согласились.

Прогремел звонок. Баревич входит, как всегда, с журналом в руках, подходит к кафедре и... как ни в чем не бывало кладет журнал на стол, накрывая им нашу петицию, потом садится на кафедре и предлагает классу сесть. Но все продолжают стоять.

— Садитесь, господа! —говорит он громче, думая, очевидно, что класс не расслышал его приглашения, но все продолжают стоять. Баревич слегка бледнеет в лице.

— Садитесь, что же вы стоите?—спрашивает он недоумевая. Все молчат.

— Что же это? Я в таком случае к директору пойду,—говорит он и начинает краснеть.

Все молчат, и только еле внятно проносится в этом жутком безмолвии заглушенный шопот Таболицкого:

— Мол-чите!

— Что же это значит? Я позову инспектора, господа! —говорит уже с дрожью в голосе Баревич.

— Молчите! — шепчу я классу.

Все молчат и стоят истуканами.

— В таком случае я уйду из класса! —заявляет Баревич, совсем, видимо, растерявшись.

При гробовой тишине класса он схватывает журнал, оставляя на столе нашу петицию, и уходит на коридор. В классе мигом все пришли в движение: одни выражали смущение на лицах,—это передние, а задние поголовно ликовали.

В класс входит директор и начинает поголовный опрос учеников, требуя объяснения причины молчания. Передние отмалчиваются, а задние отвечают, что в петиции, мол, все сказано. Директор берет с кафедры лист и читает его про себя, потом пожимает плечами и идет к задним партам. Почему-то сразу обращается он ко мне и вызывающе спрашивает:

— Ну, вот вы, без году неделю находитесь в этой гимназии,— что же вы можете сказать против учителя математики?

Меня такой его вопрос не озадачил.

— Я уже в четвертой гимназии обучаюсь, а такого плохого учителя не видал,—смело отчеканил я.

Это так вышло у меня неожиданно, что весь класс сразу повеселел, и многие рассмеялись; улыбнулся и сам директор.

— Ну, вот, ну, вот,—залепетал он в нерешительности.

— Во всяком случае ваше общее поведение будет обсуждаться сегодня в педагогическом совете, а пока можете разойтись,—закончил директор и удалился.

Как там в совете обсуждали этот конфликт, для всех нас осталось неизвестным, только на другой день директор нам объявил, что Баревич отказывается с нами заниматься, а вместо него будет вести занятия другой математик. Этот другой был человек добрый, хилый, болезненный, туберкулезный, из-за болезни часто пропускавший уроки, а потом, к концу года, и умерший внезапно, так что занятия по математике в течение всего учебного года свелись у нас почти на нет.

По России тем временем что-то опять начало делаться неладное: говорили, что усиленно стали бастовать опять рабочие, что участились убийства разных начальников, что в деревнях сильно бунтуют крестьяне, что возвращающиеся из Дальнего Востока остатки солдат начинают оказывать неповиновение офицерам. Но все это были слухи, потому что в нашем заброшенном мертвом, хотя и губернском городе, отстоявшем от железнодорожной станции на четырнадцать верст, не имевшем почти никаких фабрик, ничего подобного до сих пор не наблюдалось.

Но, вот, пронесся слух, что в окрестностях нашего города и в дальних уездах губернии начинаются крестьянские беспорядки и все учащаются поджоги помещичьих построек. В городе засуетились власти: в губернию поехал сам губернатор, гордый бородатый камергер, барон Корф, у которого я во время церковной службы в табельные дни с любопытством всегда рассматривал золотой ключ, приставленный к его вышитому золотыми блестками мундирному заду. По городу стали разъезжать военные патрули, появились на столбах объявления о введении и у нас военного положения, с назначением на пост генерал-губернатора местного корпусного командира, генерал Грибского, недавно вернувшегося с войны, где он командовал дивизией против японцев так удачно, что японцев, как стали рассказывать в городе, и в лицо не видал, зато утопил в реке, загнав в нее, как стадо баранов, безоружных и неповинных пять тысяч китайцев. Все эти явления мне казались совершенно непонятными. Таболицкий как-то начал было мне разъяснять необходимость борьбы за свободу и за землю, но я не понял, о какой свободе идет речь.

— Что это, папа, все опять волнуются, всюду говорят о бунтах? — спрашиваю я отца вечером во время нашей очередной беседы.

— Это, видишь, мутят евреи народ, а наши глупые мужики, не понимая что делают, как быки ломятся на стену,—отвечает он.

— А чего ломиться, зачем? — спрашиваю я, искренно недоумевая.

— Им, видишь, кажется, что у них земли мало, вот они и хотят обобрать помещиков.

— Но, ведь, разве можно отнимать у помещиков их имение? — спрашиваю.

— Вот, в том-то и дело, что нельзя, — поощрительно отвечает отец.

— Вот и посылают солдат усмирять бунтовщиков, а подстрекателей ловят. Как посадят всех их в тюрьму, тогда опять спокойно будет,—продолжает он.

— А что это было в прошлом году, когда народ в Петербурге вышел с какой-то просьбой к царю, а солдаты многих из народа перестреляли, а никого к царю не пустили?—спрашиваю отца.

Тот как-то смутился, стал набивать папиросы, закурил, долго молчал, ерзал на стуле, потом произнес:

— Это не народ шел, а глупые люди, которых подстрекали революционеры, а те шли из любопытства; солдаты стреляли в революционеров, а случайно попадали и в любопытных; вот почему и оказалось много убитых.

«Опять революционеры», думаю про себя. — Кто же такие эти революционеры?—спрашиваю.

— Это, видишь ли, отбросы общества, разные лентяи и бунтовщики, которые силятся все перевернуть вверх дном, все в государстве перепутать, чтобы не было царя, чтобы был во всем беспорядок, чтобы можно было им жить хорошо, не работая, а не так, как все мы трудимся.

— А как же они смеют все уничтожать и делать беспорядок, когда все без них устроено?—спрашиваю.

— Вот то-то и дело, что не смеют. За это их и ловят, сажают в тюрьмы, а скоро будут вешать, если они не перестанут бунтовать.

Это объяснение мне казалось достаточным: конечно, бунтовщиков и непокорных нужно наказывать. В моей собственной душе тем временем все с большей силой кипел тоже дух непокорности, но ни малейшей связи этой моей непокорности, возмущения несправедливостью, борьбой за правду, с непокорностью в общем настроении всей страны я в это время не сознавал: ведь я борюсь против зла, против неправды,—это так понятно и необходимо, а там какие-то бунтовщики хотят перевернуть все вверх дном!—Тут и сходства никакого придумать невозможно; признаков аналогии не было на-лицо,—потому и мысль, такая простая и логическая, о тесной связи моего протестующего настроения с общим настроением в обществе не возникала в моей голове. А эта непокорность моя, после борьбы с отцом, когда я его в первый раз в жизни положил на обе лопатки, в буквальном смысле этого слова (французская борьба была в это время в полном

разгаре, а я знал приемы ее и высшую цель—положить противника на обе лопатки), после дела Трамоцкого, после инцидента с Баревичем,—все больше и упорнее росла.—«Правда должна быть, справедливость,—значит, если я вижу в чем-нибудь зло и неправду, то должен пресекать такие явления»,—рассуждал я сам с обою. И, вот, очередным плодом такого рассуждения явился следующий процесс, начатый мною против учителя словесности и истории.

Молодой, чуть ли не с университетской скамьи, Толяк, вдруг начал обнаруживать какую-то прыть, стал придираться к ученикам, перебивал при спрашивании заданного и стал ставить плохие отметки. И словесность и особенно историю я любил больше других предметов и готовился по ним довольно аккуратно, но Толяк все же ухитрился всучить и мне по истории двойку. Это меня сильно укололо в самолюбие. Стал я еще усерднее готовиться; опять тот выставляет по истории двойку. Это уже меня окончательно взорвало. Взялся я за зубрежку, выдолбил все пройденное по учебнику за целую четверть, работал над этим несколько дней кряду, потом обращаюсь к отцу с просьбой проэкзаменовать меня. Тот берет книгу и начинает меня спрашивать из разных отделов: оказалось, что все знаю на зубок.

— Ну, вот, папа, сам видишь, каковы мои знания; теперь, если вызовет меня Толяк и не поставит мне по крайней мере четверку,—будет он меня помнить. Поддержи меня, когда начну скандалить.

Отец согласился; таким образом мы оказались оба в заговоре. Вскоре Толяк вызывает меня; сперва спрашивает из нового урока,—ответ прекрасный.

— Ну, это ничего, вы мне из старого отвечайте,—говорит он.

Я бойко начинаю молоть, как мельница, а он в это время демонстративно начинает гулять по классу, заговаривает о чем-то с учениками и не слушает меня. Через минут десять он подходит к журналу, говорит мне «довольно», и ставит три с крестом.

— Так вы так оцениваете мои знания?—громко и вызывающе воскликнул я, продолжая стоять на месте.

— Это мое личное дело, какую отметку поставить!—отвечает тот презрительно.

— Ну, нет, это и меня касается, а значит и мое дело. Я знаю на пять, а вы мне поставите по крайней мере четыре?—спрашиваю.

— Нет!—отвечает тот резко.

— Ну, тогда идем к директору!—восклицаю я.

Тот испугался и начал мяться.

— Я вам все равно выставлю три в четверти, вы не бойтесь бывших двоек,—начал он.

— Нет, это вопрос самолюбия. Идем к директору!

Урок был прерван. Ошеломленный Толяк шел по коридору, как на поводу у меня и начал было шептать мне, что он одну двойку согласен зачеркнуть.

— Нет, теперь поздно!—отвечаю.

Входим в учительскую, застаем там за самоваром директора и Шекспира. Толяк бледный, заикающим голосом, начинает пристрастно объяснять в чем дело. Директор злорадно восклицает:

— А, грубиян, четверку захотел, ну, теперь мы вас взгреем. Сейчас же собрать педагогический совет. А-а!

— Я не боюсь, и сам настаиваю на том, чтобы меня проэкзаменовали перед советом,—говорю я.

В это время прозвонил звонок, и со всех классов в учительскую стали стекаться педагоги. Я отошел в угол и стал следить, что будет дальше. В первый раз я увидел, в каком виде собираются с уроков учителя: все они приходили понурые, мрачные, какие-то усталые, апатичные, равнодушно жали руки, кто кого с утра не видал, равнодушно закуривали папиросы, принимались за чаепитие. Директор вдруг громко заявляет, что сейчас произойдет экстренное заседание педагогического совета.

— Вот этот коновод, постоянный зачинщик всяких смут в гимназии, опять устраивает скандал! —продолжал директор, показывая пальцем в мою сторону.

Тут только стали замечать мое присутствие в учительской господа педагоги. Лица у всех их повытянулись,они стали разглядывать меня, как пойманного зверя, начали переглядываться и перешептываться по мере того, как директор громогласно излагал мое преступление. Одни смотрели на меня со злостью, другие с любопытством, а третьи, в том числе и несчастный француз, с каким-то даже испугом. Бедный иностранец даже весь как-будто в одну минуту осунулся, побледнел и трясся теперь, боязливо осматривая меня издали.

— Ну, выходите, отвечайте по истории! —произнес директор.

— О чем отвечать? —спрашиваю, смело выступая на середину учительской.

— Пожалуйста, задавайте вопросы,—обращается директор к Толяку.

Тот еще больше бледнеет, потом говорит дрожащим голосом, называя такой-то отдел из истории средних веков во Франции.

Я бойко начинаю повествование, глядя то на того, то на другого педагога. Те недоумевают, а француз, заслышав что-то родное, так даже рот разинул от удивления. Затем меня несколько раз перебили, задавая другие вопросы, но сбить не могли.

Все о чем-то вдруг пошептались.

— Довольно, можете уходить! —произнес директор.

Я поклонился и вышел.

По постановлению совета мне была выставлена в четверти по истории четверка. Толяк затаил в душе злобу и вздумал дерзко, исподтишка отомстить мне за этот случай. Что он для этого предпринял и во что это ему обошлось,—скажу несколько ниже.

В городе к этому времени стало вдруг известно, что на-днях придут со стороны вокзала вернувшиеся из Японии, почему-то с таким

опозданием, местные войска. У городской заставы в назначенный день собралась масса горожан и крестьян из соседних деревень. Вышел поглазеть к вечеру и я.

По шоссе бойко к городу стали подъезжать артиллерийские части. Впереди всех, на тощей лошади, ехал молодцеватый, рыжий, с большими усами, усыпанный весь орденами, награжденный за храбрость кроме того и золотым оружием, средних лет офицер. Следом за ним ехали верхами еще с десяток молодых офицеров, все с орденами на груди. Стоявшие рядом со мной знакомые чиновники стали называть мне офицеров по именам и рассказывать кое-что из их прошлой биографии. Этот передний оказался капитаном, с дворянской немецкой фамилией, известный пьяница, славившийся своею удалью и бреттерством. Вот тот ранен был в руку. Вот этот считался женихом красивой и единственной дочери гиназического законоучителя; вот тот считался первым стрелком и т. д. За офицерами следовали верхами несколько сот солдат со знаменами, а позади их шли длинной вереницей пешие солдаты, изнуренные, с недобрым выражением в глазах. Городские дамы приветствовали офицеров, и некоторые подносили им даже цветы; в остальной публике, и особенно в рядах крестьян, слышались насмешки, громкие шутки и даже свистки по адресу офицеров; мне послышалось, будто из рядов пеших солдат неслись даже звуки одобрения насмешкам публики.

Войска вступили в город. Публика разошлась.

Через несколько дней после этого, придя поиграть в карты к знакомым чиновникам, я застал у них двух солдат-артиллеристов из числа вернувшихся с войны. Они сидели у стола в середине комнаты, а группа чиновников, очень многочисленная на этот раз, окружала их и осыпала вопросами. Я поздоровался со всеми и стал слушать.

— Вы спрашиваете, как вели себя генералы? — говорит один из солдат, бывший чиновник казенной палаты.

— Да, да, говорят, что из-за них проиграна война, — с жаром подхватывает хозяин.

Солдаты по очереди, не спеша, начали рассказывать. То, что я от них услышал, пробило громадную брешь в моих мальчишеских убеждениях, составленных из чужих, по большей части отцовских слов.

«Значит, генералы это — не добрые, седые отцы и дедушки для солдат, как я думал раньше», проползла по моему сознанию растлевающая мысль.

«Значит, война не есть благородное средство для защиты родины и оберегания народного достояния, а кавардак какой-то, в котором нагло расхищается это достояние», прорезала сознание вторая, устрашающая своею новизною, неожиданная мысль.

«Значит, на войну идут солдаты неохотно, не рвутся в бой за родину, а их принуждают и даже расстреливают за отказ итти в атаку», пронизывает мозг третья мысль.

«Значит, офицеры не идут в бой впереди солдат, не бегут вперед, увлекая своих подчиненных, как это рисуется на картинках, а сами солдаты камнями убивали многих из них, прятавшихся во время боя за кустики! Тогда зачем же существуют офицеры?», является четвертый вопрос.

С тяжелой головой, совершенно растерянный, уходил я после рассказов солдат, совершенно позабыв о том, что приходил играть в карты. Обо всех своих недоумениях, новых выводах и сомнениях я начал беседовать вскоре с отцом.

— Вот видишь,— говорил он мне с улыбкой, слушая мои речи,— каковы офицеры, а ты еще собираешься сам поступать на военную службу.

— Что ты, папа! Ведь я буду непременно хорошим офицером, не таким, как они. Ведь России нужно непобедимое войско, а без хороших офицеров его не создашь... Но объясни мне, папа, что все это значит, это расхищение казны на войне, это странное поведение генералов? Может-быть, народ теперь волнуется из-за этого; может-быть, необходимо коренным образом перестроить уклад в России? Сделает ли все это Дума? Говорят, нужна какая-то конституция?— начал я допрашивать отца.

Он широко раскрыл на меня глаза, долго молчал, затягиваясь табачным дымом, потом произнес:

— Ну, вот что, Федя, скрывать от тебя истину дольше нельзя. Ты там наслушиваешься разных разностей; в них есть и правда и неправда, а разобраться тебе самому не под силу.

— Ты хотя и не в том еще возрасте, когда начинают складываться прочные убеждения, но почему-то ты созреваешь преждевременно, и тебе пора их складывать. Видишь ли, чтобы не запутаться в жизненной суматохе, нужно вырабатывать прочные убеждения, которых следует держаться всю свою жизнь, не колеблясь. Ты прав,—Россия нуждается в непобедимом войске, и для создания его необходимы хорошие офицеры. Мы проиграли войну с японцами,—это тяжелый урон для нашего государства, но, кроме хороших офицеров, для войны нужны хорошие правители внутри страны, опытные, честные чиновники, нужна сильная, непоколебимая власть в России, а у нас все шатается, нет ни в чем прочности...

И отец постепенно начал раскрывать мне подробности своей собственной чиновничьей службы, стал рассказывать, как он был бескорыстен и честен, когда все кругом открыто брали взятки и обкрадывали казну; рассказал, что отовсюду его гнали за правду, за то, что он открыто восставал против несправедливости, клеймил губернаторов, раскрывал их преступные махинации, их покровительство всяким низким проходимцам, лишь бы они были льстецами.

— Ты, ведь, сам видел и знаешь, что везде, где я служил, я работал без отдыха, никогда не пользовался отпусками, работая круглые дни и все ночи напролет до рассвета; везде, где я служил, я за-

ставлял себя уважать, я никого из слабых и обездоленных не позволял обижать, я пресекал взяточничество в подчиненных мне чиновниках, я возбуждал их рвение к труду, заражал их своим трудолюбием. Я люблю свою родину, Федя, я люблю до самозабвения нашего царя, и я всегда служил с сознанием необходимости творить благо для народа и славу своего царя. Ты видишь теперь, что все зашаталось, что генералы на войне, а министры, губернаторы и высшие чиновники внутри страны поколебали своей бессовестностью веру народа в наше государственное устройство; ты слышишь о беспорядках в стране, о бунтах, о пожарах помещичьих усадеб, и это все приводит тебя в смущение. И это естественно,—оно приводит в смущение всех честных людей в государстве. Вот этим-то временным упадком веры в мощь нашего строя и этим смущением во всех умах и пользуются всякие проходимцы, сеятели смуты, так называемые революционеры, и большинство из них евреи, которые ничем никогда не бывают довольны, которые не любят, а только губят Россию. Здесь, в этом крае много революционеров среди поляков,—этот народ тоже жаждет только гибели России, чтобы поработить ее и сделать сильным свое польское королевство. Вот, все эти темные люди подбивают народ, как я тебе и раньше рассказывал, к бунтам против власти, желают вызвать общий взрыв, и когда все перевернется вверх дном и рушится все прекрасное, которое все мы любим и ценим, они будут ликовать, станут все расхищать и будут удить рыбу в мутной воде. Но их не послушают умные и честные люди, и тебя они не смутят. На все их подстрекательства и козни ты отвечай, что Россия нуждается не в конституции, не в хаосе и разрухе, как им бы этого хотелось, а в сильной власти, нуждается в разумных реформах; царская власть должна усилиться, а не пасть, как хотят бунтовщики; чиновники и офицеры должны быть честными, умными и трудолюбивыми. Царь объявил, что будет созвана Государственная Дума: она поможет родине, а не они—революционеры. Меня радует то, что ты уже наперед думаешь о благе простого народа. Меня везде и всегда любил народ. Я везде был его отцом и защитником...

В таком духе стал теперь воспитывать меня отец. Чем больше он мне говорил о себе, о своих административных дарованиях, о своей опытности и о фанатической любви к службе, тем все больше я начинал уважать в нем человека, которому хотел подражать во всем хорошем, благородном и светлом. Это сближение с отцом и, вероятно, то обстоятельство, что я очень рано стал замечать поразительное сходство своего нарастающего характера с характером отца, родственность с ним по натуре и, в особенности, условия нашего неудачного семейного уклада, поневоле сблизившие меня с ним в такое важное в политическом смысле время,—все это сыграло в моем развитии роковую, а во многом пагубную роль. Я стал с этого времени смотреть его глазами, мерить события его масштабом, усваивать его убеждения, убеждения чисто монархические, и все это я стал делать с твердым сознанием,

что нахожу житейскую правду, что укрепляюсь в благородном искании справедливости: нужно быть таким, как отец, все должны быть такими, как отец,—тогда будет всем житься прекрасно, а все революционеры только лгут, они и не знают, какими должны быть люди.

«Ну, а отец твой истязал тебя, бил в прошлом, и так недавно еще чуть не избил твоих братьев; это разве примерный человек?», прорезала иногда сознание критическая мысль.

«Я ему все простил,—он такой хороший, так согрел меня теперь своею близостью, дружбой; ему так не везло в жизни; это, верно, от раздражительности и нервности было; а теперь он изменился, и не будет больше бить своих детей; он, ведь, теперь бичует педагогов, и так бесстрашно их клеймит, так низко о них и так правильно думает», объяснял я сам себе очевидную нелогичность своего мышления и на этом успокаивался.

К офицерам теперь я стал еще внимательнее присматриваться, чем прежде, а они на моих глазах с каждым днем становились все наглее, все нахальнее и падали в моем мнении ниже и ниже. Чванство и надменность их усилились с введением в городе военного положения. Мне случалось видеть, как, находясь во главе конных патрулей, офицеры наскакивали на кучки мирных жителей только за то, что усматривали незаконные сборища, когда собиралось вместе десять—пятнадцать человек, били собравшихся нагайками и хохотали потом. Один за другим тут же произошли в городе два случая, возмутившие меня настолько, что я активно выступил против офицеров, и еще больше прежнего они пали в моих глазах.

По вечерам часть драгунских офицеров проводила время подле своего офицерского собрания, находившегося в центре города, на углу Большой улицы. Они имели привычку стоять таким образом, что опирались верхней частью спины в дом, а ноги далеко отставляли на тротуаре, так что изображали собою ряд наклонных подпорок к каменному, громадному, массивному зданию, ни в каких кариатидах не нуждавшемуся; скрестивши по-наполеоновски руки на груди, они наблюдали проходящую мимо публику, задевая сальными словечками женщин. Прохожу я как-то мимо них, гуляя с каким-то маленьким гимназистиком-евреем; одна из драгунских подставок так выдвинула свои ноги вперед, что мальчик, проходя мимо, задел носок офицерского сапога. Не успели мы сделать несколько шагов по тротуару, как за нами послышался резкий звон шпор и, вслед за этим, налетевший драгун, Карпиков, ударил мальчика кулаком по спине несколько раз, прокричал при этом:—«Вот тебе, вот тебе!»—и вернулся к своей первоначальной позе.

— Что такое, почему вас ударили?—спрашиваю оторопевшего и успевшего только вскрикнуть мальчика.

Тот заплакал и ответил мне, что нечаянно задел офицерский сапог. Меня это взорвало.

— Вы ответите за это!—крикнул я офицеру.

— Нисколько, так и надо еврейской морде! — ответил тот, не изменяя своей позы.

Вокруг нас собралась толпа гимназистов. Я разъяснил подошедшим в чем дело и предложил всем вместе итти к директору гимназии. Пошли. Директор вышел; я передал ему, в чем дело, и предложил ему обратиться к командиру полка, в котором служил офицер, чтобы того наказали за побои; но директор только рассмеялся мне в лицо и ушел в свои аппартаменты, хлопнув за собою дверьми.

В другой раз на той же Большой улице произошел другой случай, который на этот раз возмутил весь город.

Идя как-то вечером, в 9 часов, с своего урока, я встречаю «Гена», против обыкновения совершенно трезвого.

— Здорово, Черный!—кричит он издали.

Я подхожу к нему и здороваюсь.

— Погуляемте по Большой!—предлагает он и берет меня под руку своей мускулистой лапой.

— Неловко гулять,—отвечаю,—ведь, военное положение, запрещено гимназистам после восьми часов.

— Глупости,— возражает он,— у нас с вами есть разрешение, как у репетиторов, появляться до двенадцати часов на улице. Идемте! Кстати, видите птичка прошла!—указал он мне головой по направлению к юркнувшей мимо магазина женщине, легкого по виду поведения, и рванул меня вперед.

Прошли мы по улице раз; женщина повернула назад и прошла мимо нас, слегка улыбнувшись; мы повернули ей вслед. Не успели мы дойти второй раз до половины улицы, как женщина, не отвечавшая нам на подзадоривания, вдруг резко повернула обратно; медленно поворачиваем за нею и мы, пропуская ее мимо себя, но не успеваем сделать полоборота, как на нас сзади, очевидно с разбегу, не рассчитав, что мы собираемся повернуть и остановились, грудью наскакивает подслеповатый драгунский ротмистр Петров, внезапно размахивается и без всякого предупреждения, со всего плеча бьет «Гена» кулаком по лицу один раз, потом другой и, крикнув при последнем ударе: «Осторожнее!» — быстро удаляется по тротуару, гремя своими шпорами. Я с недоумением смотрел на «Гена», этого богатыря, как он был ошеломлен ударами сбоку, почти сзади: он бы упал на землю, если бы я его не поддержал. Через несколько секунд он, однако, пришел в себя и рванулся за офицером, крича ему издали, что требует удовлетворения, но тот прибавил только шагу и, повернув за угол, скрылся у подъезда своего офицерского, собрания. Мы с «Геном» остановились, не зная что предпринять.

— Идем к командиру полка!—предложил я.

«Ген» согласился и мы пошли на квартиру к Трамоцкому. Тот принял нас очень холодно, выслушал объяснения, записал что-то в свою записную книжку и обещал расследовать дело.

Начался процесс. Отец «Гена», губернский ветеринарный инспектор, оскорбленный за сына, поднял целую бурю. Единственным свидетелем происшедшего был я, так как неизвестная женщина после первого же Петровского удара убежала, а улица была совершенно пуста. Началось следствие; в гимназию явился генерал из округа для производства дознания. Директор на этот раз уже не смеялся, а ходил по коридору бледный, потом вызвал меня, сухо объявил, что меня будут допрашивать, что от моего показания зависит участь офицера, чтобы я говорил правду и был бы осторожен, так как в противном случае я рискую быть исключенным из гимназии. Последнего предостережения я так и не понял и прямо от директора направился в комнату к генералу.

— Постой же, мерзавец! — думал я,—в твоем лице я буду мстить всем нахалам-офицерам, которые не умеют себя вести, и все им сходит безнаказанно с рук.

Сколько ни бился генерал, чтобы выудить у меня показание в том, что и гимназист и офицер были пьяны, я не поддавался, образно передал суть дела и был отпущен.

В короткое время ротмистра Петрова в городе не стало: он был переведен в другой полк, отсидев предварительно целую неделю на гауптвахте. Я торжествовал в душе, думая, что совершил громадный подвиг.

Между тем из Петербурга пошли послабления: власти перестали препятствовать подготовке к предстоящим выборам в Думу, стали дозволять некоторые собрания и демонстрации. Первым из шествий по городу было польское: оно было организовано ксендзами, бастовавшими польскими учениками и польской интеллигенцией города.

Во всех костелах собралось много народа из деревень и масса городского люда; после богослужения все стали стекаться к главной площади стройными рядами. Ни полиция, ни войска не чинили препятствий демонстрантам. На площади быстро была сооружена трибуна, на нее всходило поочередно несколько ораторов,—местный адвокат, аптекарь и переплетчик, произносили звучные речи, из которых я понимал только фразы: «Да здравствует Польша!». «Еще не погибла Польша!». После каждого оратора толпа начинала голосить, подбрасывала вверх шапки и кричала «Виват!». Моему национальному чувству претило все это зрелище, и я стоял равнодушно в стороне на аллее и с некоторым удивлением стал следить за небольшой группой польской молодежи, стоявшей возле меня и резко критиковавшей вслух демонстрантов.

«Как это так, — думал я, — ведь это поляки, так что же им тут не нравится?»

Я остановил мимо меня шедшего Шатохина, тихо указал ему на беззастенчивых критиков и спросил, что это значит?

— Это, видите ли, польские социалисты, ну-а демонстранты—народовцы, значит националисты, — ответил мне Шатохин и куда-то заторопился, а я остался один.

Теперь к моему недоумению прибавилось новое неизвестное мне понятие «социалисты», и очень долго еще потом я не мог себе дать ясного отчета в нем, и это было для меня препятствием к уразумению многого из последовавших событий.

Вторая демонстрация была русская, патриотическая, организованная губернатором, полицеймейстером и частью чиновничества. К шествию были присоединены директором и гимназисты. Откуда-то вдруг появился портрет царя в золоченой раме, потом подошло духовенство в золоченых ризах, стали на площади служить молебен, потом кричали «ура!» и пели «Боже, царя храни». Пел и я, но бросалось мне в глаза особо ретивое усердие при всем этом безобразно толстого полицеймейстера фон-Франкенштейна, размахивавшего в воздухе своей зимней барашковой военной шапкой и командовавшего слишком громко городовыми.

Чуть ли не в день этой русской демонстрации я узнал, что в здании театра будет происходить закрытый польский митинг. Некоторые из знакомых чиновников предложили мне переодеться у них в статское платье и итти с ними туда. Я согласился, надел какой-то поношенный костюм, и мы пошли. Театр только по имени был таковым: это была раньше конюшня, и только к ней были пристроены скрипучие хоры вокруг и слегка приподнята крыша,—вот и все. Народу было полно помещение, но столько, что все почти могли сидеть. Мы с чиновниками прошли задним ходом и стали между боковыми декорациями сцены. Начали выступать какие-то ораторы, по виду молодые франтики, произносили какие-то остроты, над которыми хохотали сидевшие в первых рядах знакомые мне в лицо лавочники, приказчики и ремесленники. В задних рядах хохота не было слышно, и по временам раздавалось шипение, а на хорах иногда и посвистывание. Ничего я из быстрого лепетания франтиков не понимал, почувствовал скуку, заторопился и удалился из конюшни.

В разговорах с отцом, последовавших после описанных событий, я выяснил себе, что «народовцы» хотя и враги России, но все же заслуживают внимания, а «социалисты»,—это почти что «революционеры»,—значит хулиганы и ненавистники всякого порядка.

«Странно,—думаю,—вот в первый раз видел возле себя своими глазами на аллее «революционеров», но они вовсе не были оборванцами, а были прилично одеты, и не буйствовали, а держали себя с достоинством и скромно, а главное, не прятались, а так, среди бела дня спокойно себе стояли и даже полицией не были разгоняемы».

Невдолге после этого я как-то вечером, выпив немного водки у знакомого чиновника, вышел пройтись один по «блюдечку». Моросило. И площадь, и «блюдечко» были почти пусты. Не успел я дойти до половины бульварчика, как из-за угла слева, как из какой-то темной впадины, стала выплывать толпа с пением какого-то заунывного мотива. Кто-то за передними рядами нес красный флажок. Я остановился и в оба глаза стал всматриваться в надвигавшуюся массу: словно

какое-то бесформенное чудовище, темное, безголовое, с огромным туловищем и с массой коротких ног, с длинным хвостом, еще заслоненным от моего взора угловым каменным зданием, шло оно мне навстречу и мычало. От этого заунывного монотонного пения, в котором мне послышалось что-то жуткое, я почувствовал в первый момент тоску: создалось сразу впечатление, будто из погреба доносится до меня стон задавленных людей, что-то мною никогда прежде не слышанное, сатанинское было в заунывном пении нескольких сотен выходивших мне навстречу людей. Из головы моей мигом вылетел хмель. Еще минута, и я овладел собою, стряхнул с себя впечатление тоски и вместе с тем я тут же затушил в себе ясно мною почувствованное в первую минуту что-то жгучее-родственное, что-то в унисон с моей душой звучащее в этом задавленном мотиве. Но, вот, я различаю, кто это идет на меня, когда хвост чудовища уже выполз из-за угла.

«Евреи» — точно многими шилами сразу прокололо мое сознание мысль.

«Революционеры!» — пронизала мозг вторая мысль, от которой стало в одно и то же время и страшно и злорадно.

Передние ряды процессии уже были от меня на расстоянии шагов пятидесяти; я уже различал безусые юношеские лица рослых, шедших в длиннополых кафтанах, молодых евреев, из которых один, в третьем ряду, держал в руках древко с красной тряпкой на конце. На «блюдечке» в этот момент не было никого из прохожих. Грустное, жалобное пение становилось резким и уже не вызывало во мне чего-то бессознательно сочувственного, а, наоборот, пробуждало инстинктивное отвращение и озлобление.

«Это революционеры! враги России»,—забили снова тревогу в моем сознании мысли.

Я оглянулся на площадь, как бы ища глазами поддержки, помощи против надвигающейся государственной опасности. Но площадь была пуста: впереди во мраке вырисовывался сумрачный корпус гимназического здания; шагах в полутораста быстро удалялся по грязному снегу городовой, весь согнувшийся, как-то даже закруглившийся при этом широкую, пересеченную ремнем спину. Я хотел было закричать: «Городовой! Полиция!» — Но почувствовал, что у меня вдруг как бы голос пропал. Я тут же повернул голову снова на толпу, сорвался с своего места, побежал на это бесформенное чудовище и врезался в гущу людей. Передние посторонились, в центре произошла паника: с боков бросились бежать в стороны, наскакивая и давя друг друга, кругом загалдели, пение оборвалось, флагоносец бросился бежать к центру шествия, но я его скоро настиг, выхватил с его рук древко флага, бросил его на землю, наступил на него обеими ногами и стал дико озираться вокруг. Паника уже прошла. Толпа евреев в несколько сот человек облепила меня, словно масса навозных жуков, все загорланили на своем жаргоне, потом стали подталкивать друг друга, а передние от меня стали оскаливать зубы и смеяться.

Вдруг я почувствовал, что земля заколебалась подо мною, и я зашатался: оказалось, что это выхватили из-под моих ног древко, на котором я твердо стоял. Я нагнулся было, пытаясь овладеть снова своим трофеем, но тут же почувствовал оглушительный удар палкой по голове и схватился рукой за голову, но тут же разразился откуда-то сбоку мне нанесенный второй удар по голове. Я что-то закричал, лишился сознания и упал на землю.

— Вы ушиблены, поднимитесь,—услышал я голос, приведший меня в сознание. С трудом раскрываю глаза и вижу нагнувшегося ко мне городового.

— Встаньте, я вам помогу, что это с вами случилось?—спрашивает он участливо.

Но я уже вскочил самостоятельно на ноги, взглянул в лицо городовому и произнес:

— А где вы были? Вы убегали прочь, когда шла толпа евреев. Вы не знаете долга!—кричал я ему.

— Никак нет, это не я убегал, это другой, я только что пришел,—отвечает он мне растерянно и неискренно.

Я обвожу глазами вокруг: и площадь и «блюдечко» пусты. Со стороны Большой улицы вдруг медленно выезжает на площадь конный разъезд, во главе с артиллерийским офицером, и направляется к нам.

— Господин офицер!—восклицаю я, когда отряд поровнялся со мною.

— Стой!—крикнул офицер.

Все лошади остановились, как вкопанные.

Усатый белокурый молодой офицер наклонился с седла в мою сторону. Я в коротких словах объяснил ему, что только что случилось.

— Ах, мерзавцы! Успели-таки выйти с флагом!—злобно произнес офицер.—Давайте я запишу ваше показание, а вы, братцы, галопом объездьте боковые проулки и нагайками жидов, что попадутся,—прибавил он, обратившись к солдатам.

Те пришпорили лошадей и умчались, а офицер вынул из бокового кармана книжку и стал что-то записывать с моих слов, потом записал номер на бляхе городового, при чем тот виновато переступил с ноги на ногу, приложил руку к козырьку и глухо проговорил:

— Я в эфтом не виноват, ваше бла-городье!..

— Ну, вы можете итти, молодой человек. Вас теперь никто не тронет,—произнес офицер, козырнул мне и отъехал в сторону.

Я шел домой с жгучей болью во всей голове, будто с трещиной в черепе, но еще больше, чем физическую боль, я сознавал нравственную обиду и за себя, а главное, мне было досадно за государство, за Россию.

«Значит, вот они революционеры,—думал я про себя, понуря голову и плетясь, пошатываясь, шажком через пустынный город.—Вот они, враги отечества, и их, оказывается, так много, и все одни только евреи, и какие все молодые! и не боятся, несут себе красный

флаг и поют в городе свои хулиганские песни! Да еще как больно издубасили меня, и чем?—Да тем самым флагом, который я у них выхватил, вдруг догадался я, и от этого стало еще досаднее и стыдно до слез. И никто не поддержал, не помог мне, даже городовой бежал, а я сунулся»,—снова перебирал я в своей избитой голове подробности события.

В раскрытую форточку ресторана вырывался столб белого пара, который тут же ломался и исчезал, разносимый сырым ветром в разные стороны. Вместе с паром вытекал из форточки запах пива, звуки стучавших друг о дружку бильярдных шаров и ржание полупьяных мужчин.

— Пойдемте со мной!—проговорил над моим ухом женский голос.

Я вздрогнул и прибавил шагу, подумав про себя: «Кой чорт, трещит голова, скорей домой, к отцу». Еще издали я заметил, что окна в кабинете отца темны. Оказалось, его не было дома. На столе в своей комнате я нашел записку и деньги:

«Пошел на преферанс к столоначальнику N, приду поздно, отдай деньги прислуге на хозяйство».

Прочитав записку и скинув шинель, я пощупал свою голову и даже ахнул: на темени с правой стороны был волдырь, величиною с грецкий орех. Я быстро разделся и скоро заснул.

На утро в гимназии ко мне подходит, улыбаясь, Таболицкий и спрашивает вполголоса:

— Что, здорово тебя потрепали вчера на «блюдечке»?

— Как они смели, им за это достанется!—воскликнул я, вспыхнув.

— Ну, ты потише говори,—ответил он и отвел меня в сторону.

— Ты лучше скажи, как ты смел броситься на людей и вырывать флаг?—продолжал он.

— Я всегда буду так делать, я ненавижу врагов России!—воскликнул я запальчиво.

— Ну, вот что, ты еще, видно, не понимаешь, кто враги России, но помни, что в следующий раз тебе хуже достанется, если сунешься,—серьезно произнес Таболицкий и отошел от меня прочь.

На большой перемене я зашел к отцу в губернское правление и рассказал ему о вчерашнем происшествии. Тот выслушал меня в каком-то смущении и насильственно, как мне показалось, улыбаясь.

— Что же это такое, папа?—кончил я вопросом.

Тот стал мне отвечать, растягивая слова, путаясь в выражениях и как бы избегая моего взгляда при этом. Смысл его ответа был тот, что, конечно, демонстрантам достанется, но что все-таки не нужно было бросаться на толпу, да еще итти одному против всех, но что евреи все же канальи и им плохо достанется от русского народа. Я уходил от отца назад в гимназию в недоумении, чувствуя себя не основательно им поддержанным.

Польское общество тем временем заметно начинало все больше организовываться: митинги их продолжались, демонстрации участи-

лись, и даже начинали при этом появляться малинового цвета флаги с польскими одноглавым орлом. Русское общество, сперва было притихшее и попрятавшееся в своих домах, опять стало устраивать к масленице балы и вечера, и даже стало вести себя шумнее, дамы повели себя развязнее, а офицеры наглели все больше и больше. Педагоги в гимназии совсем поджали свои хвосты и стали тише воды и ниже травы; директор перестал делать свои мелочные придирки, но это оказалось только временным явлением. Таким образом, гимназией я перестал уже совсем интересоваться. Отношения с отцом продолжали быть теплыми, я все больше убеждался в нравственном его превосходстве перед остальными чиновниками и все больше укреплялся в прививаемых им мне убеждениях.

Как-то на масленице меня подзывает на «блюдечке» мало мне знакомый тогда ученик восьмого класса из низкорослых, который не кутил, не пил и учился хорошо.

— Вы хотите сегодня быть на тайном собрании?—спрашивает он меня тихо.

— На тайном? Почему тайном?—спрашиваю недоумевая.

— Это, видите ли, тут один студент желал бы просветить молодежь и преподать несколько политических сведений; вот он и просил некоторых из своих знакомых, в том числе и меня, выбрать из гимназистов интересующихся политикой и пригласить на это собрание. Вы сами понимаете, что такие вещи делаются тайно,—добавил он.

Я стал раздумывать. В городе происходили частые аресты и обыски; тайные собрания были запрещены; «как бы тут не влопаться», думаю.

Но, с другой стороны, что-то начинало меня манить послушать студента о политике.

— Хорошо, — отвечаю.

Узнаю у него время и место собрания и вечером прихожу на квартиру одного из бастовавших польских учеников, мне до этого времени незнакомого. В просторной, скромно меблированной комнате, с двумя железными кроватями, столом посередине и керосиновой лампой на потолке, застаю человек пятнадцать, разместившихся кто на стульях, кто на кроватях, кто на подоконниках. Два окна второго этажа затянуты темными занавесками; в комнате сильно накурено. Перездоровавшись со всеми, я стал в уголке. Большинство из присутствовавших были мне незнакомы: пять еврейских юношей, частью приказчики, частью бывшие гимназисты, несколько поляков, два чиновника, а из знакомых был «Омега», гимназист, пригласивший меня, и несколько моих одноклассников и семиклассников. У стола помещался студент Савинич, рослый, хорошо сложенный блондин, в студенческой тужурке, которого я знал и прежде в лицо и знал, что он сын члена местного окружного суда.

— Ну, так вот, собралось довольно человек,—начал студент, обращаясь после моего прихода к молодежи,—я вам начну сначала

теорию заработной платы, а потом мы побеседуем вместе на общие политические темы,—продолжал он и вынул при этом из бокового кармана своей тужурки какие-то записки и, положив их на стол, стал перелистывать и читать вслух. Он читал долго, изредка отрываясь и силясь что-то разъяснять, говорил о труде, о капитале, о фабриках, о ренте, но я ничего из этого не понимал, хотя и силился проникнуть в смысл говоренного. Всматриваясь в лица слушателей, я на многих из них читал то же непонимание, что и у меня. Потом я даже перестал следить за чтением и почувствовал скуку, но студент скоро кончил.

— Таким образом, мы уяснили основные положения заработной платы и перейдем в дальнейшем к развитию европейской промышленности,—закончил студент и, свертывая свои записки и суя их в карман, добавил: — Ну, теперь давайте обсуждать политические вопросы.—Наступило молчание.

— У нас есть новички, не мешало бы их опросить об их убеждениях,—проговорил пригласивший меня.

— Да, хорошо,—подхватил студент,—ну, вот вы, как вы смотрите на существующий государственный строй?—обращается он к одному из семиклассников, сыну военного инженера, небольшого роста коренастому юноше.

Тот краснеет, начинает мяться и с трудом выговаривает:

— Безусловно, многое из существующего нелепо, но все же в общем, с созывом в Петербурге Думы, все может наладиться.

— Ну, а что по-вашему нелепо?—спрашивает студент.

— Вот хоть бы постановка военного дела в России,—отвечает тот.

— Ну, а еще?

— Еще учебное дело плохо поставлено.

Я начинаю вслушиваться. Ответы гимназиста меня удовлетворяют, так же думаю и я. Но, вот, студент быстро задает вопрос:

— Ну, а монархия вас удовлетворяет?

— Это что такое?—спрашиваю я.

— А вы даже не знаете этого слова?—усмехается студент.

— Это значит порядок, при котором царствует один человек, например, у нас, в России, и во многих еще отсталых странах,—разъясняет он.

Я почувствовал при этих словах какое-то волнение внутри себя.

— А то как же должно быть иначе?—спрашиваю я.

Некоторые, в том числе и «Омега», сильно затягивавшийся все время табачным дымом, и поляки громко засмеялись от моих слов; улыбнулся и студент.

— Должно быть государственное устройство без деспотии,—ответил студент.

— Как, значит, вы думаете бунтовать, восставать против царя?—восклицаю я с жаром.

Некоторые из новичков заметно засуетились и стали мне поддакивать; сын инженера что-то промычал и еще больше покраснел при этом.

— Конечно, долой тирана!—вскричал студент и поднял при этом вверх правую руку.

— Долой, долой!—закричали за ним поляки и евреи, косившиеся все время в мою сторону.

— Ну, тогда пустите меня, я ухожу, я не позволю при мне поносить царя; у меня убеждения заложены отцом, я крепко их держусь, прощайте!—проговорил я громко, взялся за фуражку и быстро пошел к выходу.

За мной последовало несколько человек из новичков; сын инженера и два другие ученика восьмого класса колебались, но не уходили; поляки хохотали.

— Стойте, Ско-ий, вы в заблуждении, мы вам разъясним, не уходите!—кричал мне студент, но я уже дошел до двери, быстро открыл ее и выскочил на темную лестницу, а оттуда на дворик. За мною высыпало человек шесть, частью моих одноклассников, частью из смежных классов.

— Что это они вздумали?—восклицает один из них, сын мирового судьи.

— И чего он только не читал по своим запискам, только я ничего не понял,—сказал сын офицера.

— И я ничего не понял,—отвечаю я, и мы тут же расходимся в разные стороны.

Вечер был морозный, плыли по небу над горизонтом, ближе к западной части, свинцовые облака и словно мяли при этом голубые искорки звезд. Я шел домой быстро, как будто кто-нибудь гнался за мною.

«Это, значит, революционеры, — думал я, — и «Омега» и Савинич, и тот прилежный восьмиклассник, что меня приглашал. А люди они вовсе не страшные, а, главное, ведь, тоже дети чиновников, а вот заодно с поляками и с евреями. И как они не боятся, и так открыто кричат, да еще «долой тирана»—это про русского царя! Как они смеют?» думал я и все ускорял шаги.

«А может быть, не следовало сразу уходить, остался бы еще, послушал; может быть...» зашептал во мне какой-то внутренний голос, но я уже подходил к своему дому и не поворачивал назад.

Так и потонуло во мне это инстинктивное позднее сомнение, и я надолго из-за этого продолжал блуждать еще в слепом неведении, упрямо придерживаясь авторитета отца.

Мне поскорее захотелось быть с ним, рассказать ему все. Хотя я и был предупрежден, что это собрание тайное, и я дал слово хранить тайну тому, кто меня приглашал, но я не мог не поделиться с отцом, и уже по дороге решил не называть ни дома, ни участников, а только рассказать слышанное и виденное.

— Папа, ты можешь дать мне слово, что никому не будешь говорить того, что я тебе расскажу?—начал я, входя к нему в кабинет.

— Ну, что же, могу, если уж это такая тайна,—отвечает он с недоумением.

— Да тайна, я сам дал слово держать ее, но тебе хочу рассказать не называя имен.

И я подробно нарисовал отцу все, как было.

— Молодец!—громко ответил отец.—Ты себя правильно вел, держись твердо своих убеждений. Они жестоко заблуждаются, эти молодые люди, они молоды и не знают жизни, у них молоко на губах еще не обсохло, а туда же берутся обсуждать государственные вопросы. Кстати, вот: завтра вечером в читальной губернского правления соберутся некоторые чиновники побеседовать о политике. Тебе туда, как гимназисту, не полагается ходить, но ты все же приходи, будто за мной зашел, а сам останься, если интересуешься,—добавил отец.

— Непременно!—воскликнул я.

На следующий вечер я был в назначенный час в этой читальной. Искать ее пришлось мне долго, несмотря на подробные объяснения отца. Сперва все проходил пустые залы присутственных мест, потом полутемные коридоры, нигде не натыкаясь на швейцара; всюду потемки, потом целый лабиринт шкафов, и только резкий звук нескольких голосов сразу дал мне понять, в каком направлении дальше подвигаться. Вхожу в тесную высокую комнату, обставленную вокруг шкафами; посередине круглый стол, покрытый зеленым сукном; над ним низко спущена лампа с широким абажуром и бахромой из кисточек. Вокруг стола на стульях застаю компанию, человек в десять.

— А, Федя, ты за мной!—восклицает демонстративно отец.

— Позвольте вам представить, господа, моего старшего сына, шестиклассника,—продолжает он.

Мне начинают протягивать руки то пожилые толстенькие мужчины, то молодые, с усиками и с маленькими бакенбардами; большинство было молодых, по большей части в пиджаках, а остальные в форменных тужурках, а толстенькие—в поношенных форменных сюртучках.

— Садись, Федя, посиди, а потом пойдем вместе!—говорит мне отец и тут же обращается к одному из молоденьких чиновников в пиджаке.

— Так вас возмущает линия поведения правительства в вопросе о проведении конституции?—спрашивает отец.

— Да, то-есть...—начинает мяться чиновник.

— Конечно, господин советник,—вмешивается в разговор другой из молодых в потертой тужурке.—Согласно газетным сообщениям явствует, что народ волнуется, всюду опять беспорядки, забастовки; правительство заговаривает то так, то этак; конституция необходима государству..

— Позвольте, а вы какие газеты читаете? — перебивает начавшего говорить с жаром молодого человека один из толстеньких.

— Газету «Речь», «Русь»...—отвечает тот.

— Молодые люди! — восклицает отец. — Бросьте вы ваши жидовские газеты, прочитайте вы лучше «Новое Время» или еще лучше газету «Свет»—она маленькая, но сколько бодрости проливает в душу. Что говорить—многое нуждается в реформе, но ведь не так уж все плохо, не так уж беспомощно наше правительство, как это силятся представить жиды.

— Но, все-таки, вы не станете оспаривать, что сейчас свирепствует реакция — начал опять один из лагеря молодых, — что конституционный образ правления...

— Да что вы все про конституцию, дойдем мы своевременно и до нее, а теперь нужно другое, укрепление основ нашей монархии, а конституция расслабит только нас сейчас,— возразил отец.

Потом еще некоторое время продолжался разговор на тему о предстоящей Думе; молодые чиновники стали замалкивать, а отец все больше наседал и давил всех своим красноречием.

— Ну, Федя, теперь пойдем домой,—произнес он и встал. Мы простились со всеми и ушли.

Этот разговор еще больше закабалил мое критическое отношение к животрепещущим вопросам, и я уже больше не колебался, какой линии необходимо в дальнейшем держаться..

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Наступила великопостная полоса, в воздухе определенно запахло весной и вместе ли с этим новым воздухом или потому, что некоторое время, как я уже упоминал, общество сдерживало себя и пряталось и теперь все скрываемое прорвалось за раз, или по каким-либо другим поводам и причинам, только в русском обществе заварилась вдруг какая-то каша. Скандал стал следовать за скандалом, сенсация за сенсацией, грязь за грязью, а то и по много гадостей за раз, подобно гнойникам на зараженном теле, прорывались возмутительные неожиданности.

Первой облетела город весть о «Шекспире» и о солидной даме, Городновой, жене военного следователя. Мать семейства, имеющая маленьких детей, вдруг стала бегать за холостым «Шекспиром». Несчастных любовников стали заставать в разных укромных уголках, где гимназисты вспугивали их поздними вечерами, стали сочинять по поводу этих свиданий такие по неприличности песенки, что уши у меня заливало румянцем, когда на коридорах, на лестницах и в классах ученики начинали хором петь их, с расчетом, чтобы это доходило до чуткого слуха певца. Несчастный метался по гимназическому зданию, то здесь, то там прекращая пение, а оно начиналось в других местах. Над Городновой в лицо насмехались даже мальчишки младших классов, а она при этом краснела и делала вид, что их не слышит. Мне было жаль «Шекспира», было непонятно, почему такая солидная дама, часто прежде появлявшаяся в городе, ведя за ручку маленьких деток, вдруг начала позорить своего мужа, симпатичного на вид блондина, с клинообразной бородкой, облеченного в изящный военный мундир, и я с любопытством начинал всматриваться в лицо этой дамы, когда она открыто выходила на ежедневные свидания с «Шекспиром». Она шла, высоко подняв голову, и ни на кого ни глядела. Городские дамы отшатнулись от нее; на вечерах ни муж ее, ни она сама не стали появляться.

Не успела эта история улечься, как вспыхивает второй городской скандал, но уже гораздо сенсационнее первого. Сперва гимназистам старших классов, а потом всему городу стало известным, что между Ивицким и его теткой, супругой гимназического врача, Предкова, существует любовная связь. Хуже всего в этой истории было то, что госпожа Предкова, серьезная на вид, солидная дама была учительни-

цей музыки в женской гимназии и у нее были уже большие дети, а старший сын, миловидный мальчик, был уже учеником четвертого класса. Над Ивицким начинали слегка подтрунивать товарищи, намекая ему на его любовную связь, но он надменно огрызался, и как-то скоро умел пресекать насмешки; с квартиры своих родственников ему пришлось уйти, и он жил теперь на частной квартире, но связь от этого не прекращалась.

Я был одним из близких товарищей Ивицкого, часто бывал у него, играл в карты и довольно близко знал семью Предковых, у которых он до разглашения скандала жил на правах родственника. И до этого времени я всегда удивлялся скорбному виду врача Предкова, который был военным доктором и параллельно гимназическим. Теперь лицо его стало еще грустнее, он как-то сразу сгорбился, стал ходить, глядя в землю, сразу начал седеть и стал нелюдимым. Гимназистки на уроках Предковой начинали хихикать, шептаться, и ей пришлось оставить должность учительницы гимназии и перейти к частным урокам. Но хуже всего было мальчику Предкову. Товарищи его по классу издевались над ним, вслух третировали его мать, хохотали в его присутствии над Ивицким; бедный, ни в чем неповинный мальчик начинал плакать и с трудом упрашивал своих одноклассников перестать обижать его.

Я не понимал ничего во всей этой катавасии, с Ивицким об этом не заговаривал, да и сам он стал избегать меня, только всех их, и доктора, и его жену, и мальчика, мне было жалко. Ивицкого я в душе осуждал, тетке удивлялся, а всеми теми, кто издевался над ними, я возмущался, и с какой-то болью в сердце сознавал, какое разлагающее влияние эта история производила на юных подростков обоего пола. Местные дамы прекратили даже знакомство с Предковой.

Рядом с описанным событием произошел другой, почти комический случай, над которым больше хохотали, чем возмущались, но некоторым лицам было от него горько. В каком-то темном переулке, на мадам Копьеву, супругу военного чиновника особых поручений при губернаторе, пожилую даму, имевшую взрослого сына, восьмиклассника, возвращавшуюся вечером одну домой от гостей, накинулся вдруг шедший ей навстречу молодой полицейский пристав Данилин, бывший в пьяном виде, обхватил ее и стал осыпать поцелуями. Та подняла крик, стала отбиваться, а тот не отставал и начал даже увлекать ее куда-то за собой, приговаривая:

— Милая, пойдем со мной!

— Да вы с ума сошли! Полиция! Спасайте! — кричала возмутившаяся насилием в паническом страхе дама.

— Пойдем, пойдем! — настаивал пристав, не выпуская ее из своих объятий, едва держась на ногах и увлекая кричавшую по тротуару.

На крики ее сбежались городовые; пристав был схвачен, дама освобождена. На следующий день он был уволен от службы и выслан

по приказу губернатора из города, но огласка по городу была полная. Красавец Володя Копьев, сын дамы, краснел как рак, когда товарищи принимались при нем приводить подробности происшедшего и хохотали до упаду. Я с недоумением взглядывал на проходившего мимо солидного и всегда державшего себя гордо губернаторского наперсника и задавал самому себе вопрос, что должен был переживать теперь этот господин, муж дамы, да и вся администрация, начиная с губернатора и кончая полицейскими надзирателями.

На третьей неделе поста, как-то теплым, влажным вечером идя домой из города, на боковой уличке, недалеко от народного дома, пустой, без прохожих, я услышал вдруг странный вопль: из-за ближайшего угла, шагах в ста от меня, на пустую уличку сворачивала какая-то маленькая человеческая фигурка и начала раскачиваться из стороны в сторону; странный вопль издавала эта фигурка. Ускоряю шаги, приближаюсь к ней и слышу уже сдерживаемый полудетский плач. Подхожу и начинаю различать следующее: гимназистик Котельский, ученик четвертого класса, красивый белокурый мальчик, со сбитой на затылок фуражкой, весь испачканный мелом, отбивается от досчатого забора, еле держится на ногах, плачет, голосит, прижимает ко рту левый кулак, в котором что-то зажато, потом делает тошнотные движения и извергает на тротуар рвоту. Я подхватываю его под руки, различаю половину лимона в его левой руке и смертельную бледность на его лице; сажаю его на тротуарную тумбочку и начинаю расспрашивать.

— Что с вами, почему вы плачете?

Тот удивляется тому, что кто-то принимает в нем участие, потом свешивает вниз голову и начинает мне, всхлипывая, рассказывать, при чем слюни текут у него изо рта. Оказывается, что он играл на биллиарде в народном доме, там же напился водки и пьяной рукой, с размаха кием прорвал сукно на новеньком биллиарде.

— Что теперь будет?!—восклицает он, всхлипывая.—Смотритель сказал, что новое сукно будет стоить 25 рублей! Что со мной сделает папа!—плакал он.

Я стал его утешать, потом медленно, с трудом повлек его, совершенно разбитого и пьяного, к его квартире, в центр города. Это был сын губернского медицинского инспектора, доктора медицины, Котельского, расслабленного, подслеповатого флегматика, над медицинскими знаниями которого все подсмеивались, и к которому с болезнями никто не обращался.

— Ну, вот что: я вас проведу по лестнице и посажу, а сам пройду к вашим и тихонько предупрежу обо всем, кого следует,—говорю я, когда мы были уже близко у его дома.

Тот апатично соглашается, взбирается по лестнице на второй этаж и грузно опускается на каменную ступеньку, а я спускаюсь вниз, обхожу дом и с заднего хода через кухню проникаю в квартиру инспектора. Служанка вызвала барыню. Ко мне вышла сдобного вида

низенькая дама, с проседью, и очень удивилась моему приходу. Я представился ей, коротко вполголоса объяснил, в чем дело; та ахнула, потом сдержалась, стала благодарить меня, потом засуетилась.

— Ах, я сейчас, сейчас, ах, Боря, Боря!—и она метнулась из кухни, а я стал сбегать с черной лестницы, вышел на улицу и приоткрыл парадную дверь.

На первом пролете слышу тот же женский голос:

— Боренька, встань, тихонько пройдем, чтобы папа не слышал, ну, вставай же.

Я тихо прикрыл двери и сошел с подъезда.

«Какой ужас! Такой маленький, и вот уже биллиард, пьянство», думал я и тихо побрел домой. Проходя мимо народного дома, я остановился, услышав звонкое лязганье биллиардных шаров. На башне било половина десятого. Я сошел с тротуара и обошел сбоку дом. В ярко освещенные окна биллиардной комнаты я увидел человек двенадцать гимназистов, разного возраста, но больше мелюзгу, одни из которых играли за двумя биллиардами, передавая друг другу поочередно кии для ударов, а остальные сидели на пристенных, обшитых клеенкой мягких скамейках и жадно следили за игрой, жестикулируя и давая яростные указания играющим. Я постоял с минуту, потом отошел и побрел к дому.

«Что это такое?» думал я.

Перед масленицей еще в городе появился высокий, полный, плечистый, почти вовсе лысый, но еще молодой человек, элегантно одетый в статское платье. Он стал бывать в Благородном собрании на всех вечерах, был принят во многих домах, как родственник одного из богатых в городе офицеров. Приезжий господин прослыл в городе за крупного помещика из Белоруссии, стал вести крупную картежную игру, в которой участвовали офицеры, особенно драгуны и видные чиновники. Почти тут же пронеслась молва, что он играет очень счастливо, и многие из игрков проигрываются ему впух и прах. Теперь весь город ошеломила весть о самоубийстве единственного сына временного генерал-губернатора Грибского, о военных подвигах которого над китайцами вместо японцев я упоминал выше. Самоубийство молодого корнета последовало от крупного проигрыша в карты казенных денег. Все военные всполошились. Похороны носили грандиозно-торжественный вид. Гимназисты по почину директора тоже были присоединены к процессии. Какой-то местный композитор даже сочинил похоронный марш «На смерть Грибского», который исполнял во время похоронной процессии кавалерийский оркестр. Белый как лунь, красивый высокий генерал, отец покойного, шел теперь за гробом в слезах. Я пристально следил за ним, но без сожаления. В городе свирепствовало военное положение. Тюрьма, находившаяся по соседству с нашим домом, была переполнена людьми, которых схватили и заперли туда военные власти, а этот генерал отдавал страшные приказы, благодаря которым и томилось теперь столько народа. Мне

бывало видно из окон нашей квартиры, как почти ежедневно партиями водили под конвоем целыми толпами арестованных людей,—одних в тюрьму, а других из тюрьмы на вокзал. Эта лютость начинала мне казаться чрезмерной и непонятной моему полудетскому рассудку. Когда я уже теперь выражал свои недоумения по этому поводу отцу, тот пожимал плечами, но отвечал, что так надо, иначе погибнет Россия, что, может-быть, есть несправедливости, но в общем власть должна быть сильная.

— Да, это правда, но все-таки жестокости не должно быть,— возражал я.

Отец на это замолкал.

Теперь, глядя на этого страшного генерала, по внешнему виду такого благодушного и благообразного, а в данную минуту даже какого-то беспомощного и убитого горем, я думал про себя:

«Мне тебя не жаль, жестокий старик! За что ты утопил в реке невинных пять тысяч китайцев? Что ты свирепствуешь теперь на всю губернию и мучишь стольких людей? У тебя недавно умерла скоропостижно жена; теперь бессмысленно, да и еще с позором, от казенной растраты погиб единственный сын. Это возмездие за твои злодеяния. Плачь, черствый старик! Мне тебя не жалко».

Вскоре этот старик вышел в отставку и уехал из города, и на его место стал корпусным командиром и генерал-губернатором славный старикашка, Хитрово, настолько мягкий и отзывчивый, что часто сам пешком отправлялся из своей квартиры к полицеймейстеру, сопровождаемый родственниками арестованных, и просил того о смягчении участи осужденных.

«А это что значит?—думал я про себя. Генерал, значит, любит царя и Россию, сам же хлопочет об арестованных революционерах! Значит, можно быть военным и иметь сердце доброе, и я стану таким. Если все будут такими, то и нечего будет бунтовать и никакой революции не будет!»—делал я про себя свои ребяческие выводы и еще более укреплялся в мысли стать офицером, братом и другом народа.

Уже с нового года все стали замечать, что за самой красивой гимназисткой, семиклассницей Мергиевской, начал усиленно ухаживать драгунский поручик Карпиков, носастый, рыжеватый, несколько сутулый офицер, тот самый, что безнаказанно ударил по спине еврейского мальчика. Мергиевская была одна из тех красавиц, которая пренебрегла в свое время моими ухаживаниями ради брачных видов на этого офицера. Я тогда «благородно», как я себе это в душе определил, отступил от ухаживания за чудной по наружности девушкой, но продолжал быть к ней неравнодушным, издали ею всегда любовался и со злобой взирал на счастливого соперника.

Теперь, в середине поста, пронесся слух, что Карпиков с Мергиевской помолвлены и после пасхи назначена свадьба. Больно было мне об этом слышать, тем более, что я считал пошленького, некрасивого и глупого офицера недостойным быть мужем такой красавицы, об

умственных и душевных качествах которой я, однако, ничего не знал. Мергиевская с наступающей весной стала расцветать еще больше, становилась еще красивее, а Карпиков, странное дело, стал заметно хиреть, худеть и терять цвет лица. Вскоре для меня стало ясной эта перемена в его наружности. Как-то после обеда, когда уже смеркалось, я вышел из дому, пересек город, сошел к противоположному откосу и поднялся на второй этаж красавинского дома доктора Шаревича, у которого я лечился от сифилиса. Звоню, мне отворяет прислуга, отвечает на вопрос о приеме, что доктор принимает и что нужно обождать, и уходит в кухню, а я прохожу в полутемную гостиную и сажусь в уголке на плюшевое кресло. За дверью в соседней комнате слышу громкий разговор между двумя лицами. Кто-то, очевидно, пациент, говорит с заметной хрипотой, но голосом молодым, громким, с оттенком вызывающим и небрежным; другой, знакомый мне голос доктора, отвечает потише, каким-то флегматично-участливым баском.

— Ну, так что же, скоро пройдут эти явления? — громко спрашивает пациент, так что я слышу отчетливо каждое слово.

— Не знаю, не могу...—дальнейшего ответа доктора расслышать я не могу.

— Но, все-таки, вы понимаете, что это неприятно, неловко, я бы хотел побыстрее отделаться от этих наружных признаков!—как будто дерзко настаивает на своем пациент.

Доктор что-то тихо ему отвечает.

— Я от вас не скрою, доктор, я собираюсь жениться, ну, так вот, если признаки исчезнут, то безопасно будет? — спрашивает снова пациент, но уже тоном несколько упавшим и даже немного заискивающим.

— Видите ли...—начинает доктор, но дальнейших слов его не слышно.

— Ну, так, значит, так: я буду к вам ходить на большие уколы, как вы их называете, и тогда пойдет скорее; значит, начнем с завтрашнего дня?—спрашивает пациент.

— Да, хорошо,—отвечает доктор.

— Ну, так до свиданья!

Зашаркали стулья, быстро раскрылись двери и в гостиную пролился косым вытянутым параллелепипедом свет из кабинета; в дверях появилась звенящая шпорами фигура, а за нею доктор. Я остаюсь в стороне от света, в глубокой тени, и, притаившись, с любопытством всматриваюсь в пациента и устанавливаю, что это Карпиков, который быстрыми шагами проходит в переднюю и дальше на лестницу, в растворенную перед ним прислугой дверь. Доктор, не видя больше никого, стал отступать было от порога в глубь своего кабинета, когда я встал и дал ему знать о себе своим робким голосом.

— Это, доктор, я; хотел бы к вам на минуту.

— Ах, здравствуйте! я не заметил вас, пожалуйте! — произносит он.

Мы садимся; он начинает обычные вопросы, но делает их очень участливо, добрым жалеющим взглядом медленно водя по моему лицу.

— Я думаю, повторите еще раз курс лечения втираниями, — говорит он.

— Но, доктор, ведь никаких признаков нет, ведь я уже вместе с Варшавским провел три курса лечения по тридцать втираний и выпил уж восемь бутылок иодистого калия. Я очень ослабел, сильно кружится голова,—возражаю я.

— Ну, тогда немного обождем, но все-таки лечитесь неослабно; ну, вот вам пока железо, принимайте,—говорит он, быстро написав рецепт и протягивая мне.

Я поблагодарил и ухожу.

«Так вот, какой ты молодец! — думаю я по дороге домой о Карпикове.—Ну, погоди же ты мне. Свадьбы твоей с Мергиевской не бывать! решил я сам с собой.—Ах ты подлец этакий, еще жениться спешит!»

Дня через два я встречаю Мергиевскую одну, подхожу к ней и в разговоре заявляю, что слышал, будто она помолвлена с Карпиковым.

— Да, помолвлена, — отвечает она слегка вызывающим оттенком.

— А что?

— А вот, я хотел вас предупредить о том, что Карпиков не имеет права жениться,—отвечаю я с некоторым смущением.

— Это почему?—спрашивает она и вспыхивает при этом.

— Потому что он болен,—отвечаю я и еще более смущаюсь.

— Это все неправда, я уже слышала об этом. Это на него со зла наговаривают. Я не верю этому, — говорит девушка и при этом запкается, краснеет еще больше и потупляет глаза.

— Ну, как хотите; я считал своим долгом вас предупредить. Но знайте, что если вы сами не отвратите этой свадьбы, то я тогда буду иметь разговор с вашим отцом,—говорю я ей.

— Это вообще не ваше дело вмешиваться. Это мой жених, и я никого не буду слушать,—отрезала она, быстро простилась со мной и пошла по направлению к одному из флигелей казарм пехотного полка, в котором ее отец служил ротным командиром.

Меня огорчило ее ослепление. Карпиков продолжал ухаживания. Тогда я обратился к отцу девушки. Капитан, с виду какой-то деревянный, бородатый, выслушал меня молча, потом стал гладить свою бороду и спросил:

— А какие доказательства у вас есть так утверждать?

Я чувствовал от его вопроса, что поставлен втупик.

— Видите ли, я вообще кое-что слышал об этом в городе,— начал опять капитан, видя затруднительность с моей стороны.—Но, ведь, не всякому слуху верить можно.

— Я твердо знаю, что это так, но доказательства привести вам не могу. Но вот что, допросите самого Карпикова, пусть он вам, как

честный офицер офицеру ответит, может ли он совершить такую подлость и сделать несчастной вашу дочь?!—воскликнул я.

Офицер после этого как-то холодно пожал мне руку, сказал при этом: «все-таки благодарю вас», и мы расстались.

Через неделю Карпиков внезапно уехал из города; еще через неделю все узнали о том, что он вышел из полка, и по всему городу стали говорить, что Карпиков болен сифилисом, что свадьба с Мергиевской поэтому и расстроилась. Еще через две недели кто-то из приехавших рассказал, что видел Карпикова в Петербурге, где-то на полицейском посту, и что он поступил в полицию и стал помощником пристава. О том, что офицеры переходили на службу в жандармы я слышал и сам знал таких субъектов, которых в душе осуждал, так как инстинктивно ненавидел жандармов, несмотря на слепую приверженность монархическому строю. Но чтобы офицер стал полицейским — это уж совсем было для меня омерзительным.

Мергиевская после отъезда Карпикова прекратила со мной знакомство.

В середине поста в народном доме готовился какой-то благотворительный спектакль с танцами. Меня, как не танцующего, попросили торговать в буфете. Я нехотя согласился.

— Там, Федя, с тобой хочет познакомиться одна генеральша; я уже с нею знаком, у нее скоро будут даваться в доме званые вечера, ну, так вот, и тебя она хочет пригласить бывать у них,—говорит мне накануне благотворительного спектакля брат Всеволод, уже успевший со многими в городе перезнакомиться.

—Но мне, Воля, неприятно куда бы то ни было ходить,—возражаю я.

— Ты не отказывайся, пожалуйста, барышни очень хотят, чтобы ты бывал у них,—настаивает брат.

После спектакля, когда начались танцы, я начал торговать у буфета сладостями, чаем и прохладительными напитками, но торговал я не один; оказалось, что я был назначен только помощником буфетчика, а самым буфетчиком был некто Опмар, восьмиклассник, толстый, как бочка, отчаянный биллиардист и член «пьяной компании», сын местного гражданского инженера. Торгуем бойко; все к буфету подходят видные чиновники, состоятельные кавалеристы, швыряют рублями, не требуя сдачи и гордясь своею благотворительностью. Вдруг подходит низкого роста полная дама, пожилого вида, в бархатном темном костюме, в сопровождении двух миловидных девочек, гимназисток лет 14—15.

— Здравствуйте, давайте познакомимся!—говорит она, обращаясь ко мне и протягивая мне руку.

Я пожимаю протянутую мне руку и называю себя.

— Знаю, знаю вас. Еще новорожденным видела, бывала у ваших родителей, когда вы были еще совсем крошка, а теперь вот какой большой выросли! Вы торгуете? Ну, посидите с нами. Познакомьтесь, это мои девочки,—указывает она на гимназисток.

Когда я обходил прилавок, чтобы выйти к дамам, то мельком заметил, как Опмар опустил руку в кассу и быстро сунул себе в карман деньги. Я как-то за разговором с новыми знакомыми мало обратил внимания на это. Дама оказалась женой управляющего казенной палатой, Кокосовой; она все продолжала петь о том, какой я был маленький, а теперь большой, и почему это я не танцую, просила очистить ей апельсин, потом расплатилась и тоном свысока объявила, собираясь уходить:

— Надеюсь, вы будете у нас бывать с Волей, мы вас будем ждать в субботу,—и стала прощаться.

Когда я их провожал до двери, то вторично заметил, что Опмар сунул из кассы деньги себе в карман. Я вернулся из буфета, смолчал, но искоса стал следить за ним. Как-то после какого-то крупного вклада на благотворительность от какого-то блестящего драгуна, когда никого у буфета не было, Опмар вдруг сунул опять в кассу свою толстую руку, потом быстро протянул ее ко мне и бросил мне на колени трехрублевую бумажку; потом опять опустил руку в кассу, что-то взял из нее и сунул себе в карман.

— Что это, как?!—залепетал я, задерживая трехрублевку, чтобы та не свалилась на пол.

— Молчи, и бери себе!—проговорил тот. Потом наш разговор долго не мог возобновиться из-за непрерывного потока публики. Я хотел было бросить деньги назад в кассу, но почему-то раздумал и положил себе в карман. Вскоре к нам подошли распорядители вечера, стали подсчитывать кассу, нашли, что мы очень много наторговали, взяли деньги, объявили, что теперь начнут торговать дамы шампанским, поблагодарили нас за выручку, и мы стали удаляться. Опмар шел быстро. Я стал догонять его и повторил ему вопрос: что это значит?

— Молчи и оставь меня в покое,—заявил тот на ходу и быстро исчез в толпе.

Танцы продолжались, но меня они не интересовали, я быстро оделся и пошел домой. Карман мой горел, деньги жгли, совесть была неспокойна.

— А может быть, растратить их?—зашептал какой-то голос внутри меня. Я долго не мог уснуть, ворочался с боку на бок и все думал, как это так, ведь это кража, значит Опмар на моих глазах три раза украл, а может быть, брал и тогда, когда я не видел.

Утром было воскресенье. Когда я собрался итти часов около одиннадцати в церковь, отец говорит мне:

— Вот я вчера не был на этом вечере, а цель вечера была очень симпатичная, для помощи сиротам. Ты, Федя, возьми вот десять рублей и по дороге отнеси к прокурору на квартиру эти деньги,—он организатор этого вечера,—и передай от моего имени, в виде пожертвования.

Я взял деньги и пошел. Придя к прокурору, я отдал ему тринадцать рублей, расписался на каком-то листе и ушел. Как только я очу-

тился на улице, на душе моей сразу стало спокойно и уже не мучило вчерашнее.

Отмар попрежнему кутил и играл на бильярде, а при встречах со мной как-то старался не заговаривать.

Нехотя шел я к Кокосовым, зная наперед, что мне скучно будет. Они занимали пол-этажа громадного здания казенной палаты. Молодежи застал я там много; виднейшее место занимал между гостями тот самый Владимир Коревский, член «пьяной компании», который в начале года приглашал меня выпивать на остров. Здесь он был корректен, трезв, любезен и сильно ухаживал за старшей из хозяйских девочек, очень миловидной Женей. Я узнал здесь, что обе девочки не дочки, а приемные дети хозяев, взятые на воспитание бездетными сановниками у небогатых родственников. Все в доме было чинно, холодно, казенно. Управляющий палатой, с очень красным носом, с обрюзглым и очень отвратительным лицом, в форменной тужурке с отворотами, подбитыми уж очень зеленой генеральской подкладкой, напоминавшей своим видом сукно ломберного стола, сам разливал гостям чай из никелированного чайника, стоявшего перед ним на спиртовке, а супруга его с каким-то особенным гонором, сидя подле него, разглагольствовала о нравственности.

— Знаете, мне не нравятся все эти вечера в собраниях,—там молодежь вперемежку со взрослыми, и сама стесняется, и взрослых стесняет. То ли дело, вот такие вечера, как мы устраиваем,—тут вам и простор и свобода, бегайте себе, шалите, танцуйте,—говорила она.

И действительно, все, выйдя из-за стола, разбегались в разные стороны и по квартире и по канцелярским комнатам, полутемным и пустым. И не веселость здесь была, а какая-то тенденция скрыться, спрятаться от других. Я стал замечать, что все убегают парочками, а мне не с кем было, да и не хотелось убегать. Раза два или три я бывал на этих казенно-палатных вечерах, и всякий раз уходил побродить один по полутемным комнатам, шел в помещение дежурного чиновника, обыкновенно робкого, забитого молодого человека, знакомился с ним, садился у него, закуривал и начинал вести беседы о службе, о чиновничьих правах, о начальстве, пока не раздавался громкий зов к ужину. Во время моих бесед с чиновником я всегда ясно различал какие-то шорохи, шопот, шелест в соседних темных комнатах, иногда сдерживаемый смех, какие-то вскрики; объяснял я себе все это так, что это молодежь, верно, играет в прятки, и не придавал этому особенного значения.

Как-то после одного ужина ко мне присела хозяйка дома и стала хвалить мою скромность, потом вздохнула об испорченности современной молодежи и прибавила:

— Мои девочки чистые, их не касается тлетворное влияние нашего времени. Вы знаете, они ходят в гимназию всегда в сопровождении курьера, который за ними опять заходит; они никогда не гуляют на вашем противном «блюдечке» и не посещают городских вечеров; зато здесь, дома, пусть резвятся сколько угодно.

«Пусть себе резвятся»,—подумал я про себя, но ничего не отвечал.

Вся эта казенщина была уж очень мне противна, и я совсем прекратил посещение этого дома.

Я умышленно несколько подробнее остановился на описании этих вечеров, чтобы более рельефно выступили перед читателем последствия такой охранно-воспитательной системы, о которых речь будет несколько позже.

На шестой неделе поста ученики и ученицы начали говеть. Кощунственно относилась к этой принудительной процедуре молодежь: с каким-то задорным весенним удальством сбегались к церкви гимназисты, шалили, дрались за церковной оградой, потом входили в церковь, напускали на себя великопостный вид, но и тут часто не сдерживались,—толкались, угощали друг друга подзатыльниками, пересмеивались, а старшие перемигивались, переглядывались с гимназистками, лукаво косившимися на них со своей левой стоянки, кивали своими головами, улыбались, а потом им подмигивали, и все это производилось перед носами надзирателей и классных дам, следивших более за тем, чтобы все регулярно крестились, во-время становились на колени и не нарушали стройности рядов. Службой никто не интересовался, и все производилось механически, как какая-то принудительная повинность, которая особенно мне претила, и я манкировал церковными службами, насколько только мог.

Дни были теплые, но к вечеру становилось прохладно. Я вспомнил как-то о своей любимой тужурке, которую с окончания сезона на катке не надевал, облекся в нее, вышел погулять перед обязательной всенощной, накануне исповеди, по парку, и уже к концу службы вошел в церковь и стал недалеко от свечного стола, с расчетом, что отбуду свой постой, постою отдельно от стоявших по-солдатски в ряд впереди гимназистов, а скоро и службе конец; считаться же будет, что у всенощной я был. Стою равнодушно, глядя вперед поверх кивающих, как у китайских болванчиков, голов молящихся, как вдруг над ухом слышу директорский бас:

— Как вы в таком виде смели,— шепчет он,

«Ах, — думаю, — ты опять за старое, ну, теперь я тебя подурачу»,—решил я, даже не обернулся, а тут же опустился на колени и начал усиленно креститься и отбивать поклоны всякий раз, как верзила-директор, перегибаясь в три погибели, наклонялся ко мне и начинал шипеть над моим ухом о том, что не потерпит, чтобы я в тужурке оставался в церкви.

Крестился я только для виду, сам же все время поглядывал по сторонам и следил за выражением физиономий у стоявших вокруг офицеров и крупных чиновников, наблюдавших за происходившей сценой и хихикавших под сурдинку, чистя время от времени пуговицы на своих форменных шинелях вместо осенения себя крестным знаме-

нием, а я с трудом сдерживал хохот, клал на себя широкие, демонстративные кресты и гнул свое туловище вперед к каменным плитам, когда чувствовал, что директор сзади, шипя, нагибается ко мне. Наконец, директор, выведенный из себя этой комедией, обходит меня со стороны, нагибается ко мне, схватывает за плечо и, достаточно громко для разговора в божьем храме, заявляет с пеной у рта:

— Если вы, Ск-ий, сейчас не уйдете из церкви и не переоденетесь у себя дома, то я сию минуту призову жандармов и велю вывести вас вон!

В одно мгновенье юмористическое настроение мое сменилось холодным бесстрашием, я быстро встал, посмотрел на шарообразное лицо педагога; резко повернулся и вышел вон.

«Ах, вот как! Так можно из церкви вытаскивать через жандарма», подумал я.

Для меня церковного бога уже не существовало, но к церковной церемонии я все же относился с каким-то уважением, а потому директор в моих глазах упал теперь до положения какого-то хама.

— Ты, Федя, зайди, пожалуйста, завтра утром в церковь и через диакона или псаломщика уговорись, чтобы священник отслужил панихиду по Марье Семеновне завтра после обедни,— говорит мне вечером отец.

— Хорошо,— отвечаю равнодушно, а сам все продолжаю скрежетать в душе от недавнего происшествия.

На утро, идя в гимназию, захожу в отворенную церковь. Она была пуста. Пономарь с высокой лестницей сновал перед иконостасом, заправляя лампады. Подхожу к нему, спрашиваю, к кому бы обратиться по панихидному делу.

— А вот, там сбоку, комната, к псаломщику,— отвечает тот, машинально обхватив золоченый карниз у самого лика богородицы.

Иду туда, вижу маленькую сырую, полутемную келейку; прямо у стены какая-то лежанка, на ней различаю лежащего на животе и издающего громкое храпенье человека. Нагибаюсь и вижу уткнувшегося лицом в свою пушистую, седую, бороду псаломщика; изо рта его разит водкой. Начинаю будить его, расталкиваю, а тот только мычит, тыкается лицом в бороду, а потом бессвязно отвечает, что, мол, успеется еще, и не время еще «часы» начинать. Вижу, что ничего не добьешься, и ухожу.

«И это в церкви—думаю,—вчера вот с этого самого места меня могли изгонять жандармы, а сегодня вот тут, где молятся, лежит пьяный церковный служитель. Что же это такое?»

Но недоумение мое как нарочно продолжало нагружаться новыми сюрпризами, все более ужасными.

Отделались мы вечером от исповедальной ерунды и разошлись по домам. Утром, еще приученный покойной богобоязненной мачехой, иду в церковь к причастию натощак, — хоть и тяжело испытывать голод, но как-то не решился я ничего съесть.

— Выйдем!—толкнув меня в бок локтем, в церкви произносит полушопотом Штоба и поворачивается к выходу.

Иду и я за ним. На паперти тот оборачивается ко мне и произносит:

— Пойдем в подвал, покурим!

«Как,—думаю,—перед причастием, удобно ли это?»

— Вот сюда,— произносит он и идет в обход церкви.

Я полубезвольно следую за ним. Проходим через низкие воротца в сводчатый коридорчик, совсем темный, потом вступаем в подвальное помещение. Штоба по дороге закуривает и предлагает мне, но я отказываюсь, мотивируя тем, что натощак не могу курить. Вдруг слышу сбоку шум и вижу гурьбой бегущих к простенку человек двенадцать гимназистов, все больше подростков из классов третьего—четвертого. Дойдя до стены, толпа останавливается. Какой-то великовозрастный становится в сторонке и громогласно заявляет:

— Когда там еще, ребята, начнется причастие в церкви, а тем временем давайте сами причастимся!— И он вынимает из одного кармана бутылку с водкой, а из другого завернутую в газетную бумагу колбасу.

Толпа одобрительно загорланила. Привычными движениями о колено взорвав из бутылки пробку, он продолжает, смеясь, говорить:

— Примите, ядите сие есть тело мое, в колбасной купленное,— и протягивает товарищам руку с колбасой.

Те начинают ломать ее и вырывать друг у друга; начинается суматоха.

— Теперь пейте из нее все, сия есть кровь моя из винной лавки!—провозглашает уже торжественно прежний.

Все начинают на него напирать, а тот сует поочередно каждому в рот горлышко бутылки. Мне становится нестерпимо противно, и я быстро выхожу на церковный дворик и начинаю бродить возле душистых, с липкими набухшими почками деревьев, топчусь вокруг них и долго не могу себя заставить вернуться в церковь.

Через полчаса на моих глазах, впереди меня священник приобщал только что распивавших и закусывавших вот тут же, под этим каменным полом, а с бокового клироса при этом, под торжественное управление Шекспира, хор мощно брал: «Тело Христово приимите!»...

Наступила пасха, то есть целая неделя, а для некоторых и больше, когда все стали ходить принарядившиеся, чему-то особенно радующиеся, начались непрерывные визиты, на которых визитеры напивались и нажирались, мужчины при этом целовались и лезли с поцелуями к дамам. В городе в разных местах стали попадаться сильно пьяные офицеры, чиновники и гимназисты. Всюду заговаривали о многих предстоящих в городе свадьбах, и особенно всех заволновала новая неожиданная помолвка красивенькой хрупкой, с большими темными глазами, дочери благочинного с штаб-ротмистром местного драгунского

полка, бароном Бигонетом, после того как бывшему поклоннику поповны, тоже офицеру, но артиллеристу, вернувшемуся с японской войны, было неожиданно отказано попадьей в предложении.

Девушку с прекрасными глазами, только что кончившую Смольный институт и недавно приехавшую в город, я знал в лицо и всегда издали ею любовался.

«Почему же это отказали такому красивому молодому человеку, а предпочли долговязого, болезненного, по виду несимпатичного немца?»—спрашивали многие друг друга. Задавал себе этот вопрос и я.

Все сходились на предположении, что это хитрая и властная попадья всем орудует. Характер кроткого, болезненного и какого-то блаженненького священника, нашего гимназического законоучителя, я описывал выше; этот человек ни во что не вмешивался, увлекался в это время писанием каких-то церковных трудов, излагая по-своему какие-то взгляды на греческих богословов, и всем орудовала его супруга, высокая гордая дама.

Ей, очевидно, хотелось, чтобы ее дочь стала титулованной дамой, вот и повернула она так круто все дело.

Свадьба с бароном состоялась. Не прошло и недели после нее, как город облетела ошеломившая всех весть. Оказалось, что новая молодая баронесса заразилась от своего титулованного супруга сифилисом, и ее моментально увезли в Петербург лечиться. Барон Бигонет бросил службу в полку, и с тех пор в городе молодожены не появлялись.

Страшные сенсационные скандалы, однако, на этом не прекратились.

Снова начались в гимназии занятия после пасхальных каникул. В один из прохладных весенних вечеров по Большой улице стал ходить, слегка покачиваясь, Ген, с каким-то загадочным выражением в глазах. Его вели под руки, с одной стороны Коревский, а с другой толстяк Опмар. Публика начинала с удивлением оглядываться на легендарную в городе «тройку», все почему-то оборачивались и с недоумением смотрели на Гена, особенно гимназисты-подростки, те с каким-то любопытным задором бегали за «тройкой» и заглядывали кореннику в лицо. Я тут же узнал, в чем дело. Оказывается, Ген побился с кем-то об заклад, что один, в течение вечера, гуляя взад и вперед по Большой улице, разопьет четверть водки, только чтобы его водили при этом под руки, а то он не ручается, что не натворит скандалов в пьяном виде. Когда я очутился на Большой улице, Ген был уже достаточно пьян, как-то странно покрякивал, покачиваясь из стороны в сторону, злорадно косился на своих провожатых, но глаза его выражали уверенность, что пари он выиграет.

— Ну, ведите к водке!—рявкнул он.

Провожатые мигом свернули в какой-то подъезд, ведя под руки Гена. Пошел и я за ними. Гимназическая мелюзга пыталась было тоже

прошмыгнуть в подъезд, но толстый Опмар шугнул их и прижер своей тушей двери. В темноте вдруг блеснул электрический карманный фонарик и осветил перила, каменную лестницу, зигзагами уходившую вверх; от чугунных узорных перильных стоек по стенам забегали странные фантастические тени; моментально стало тихо после уличного гомона; под покатым лестничным ходом в самом углу стояли армянин Моресов и Скрыпин, держа в руках большую четвертную водки, наполовину уже выпитую. Это они здесь оба находились все время с водкой, прячась тихонько в темноте, пока «тройка» разгуливала по улице.

— Поднимайте выше рыло!—рявкнул Ген.

Те подняли выше бутыль, а Ген, сунув «рыло», т.-е. горлышко бутылки себе в рот, начал глотать булькавшую влагу, тяжело отдуваясь и сильно раскачиваясь в стороны.

— Хрмы!—издал он какой-то неопределенный хрип.

Моресов и Скрыпин опустили дно бутылки и отвели «рыло» от лица Гена.

— Лимона! на улицу!—скомандовал Ген.

Опмар сунул ему в рот ломоть лимона; тот жадно стал его жевать, морщился, обтер себе рот рукавом шинели, и все трое повернулись опять к выходу.

Мне жутко и обидно было наблюдать всю эту мерзость, но что-то подталкивало посмотреть, что будет дальше, и действительно, может ли один человек выпить такое громадное количество водки на глазах у всех и не свалиться с ног?—и я не уходил домой, а стоял у какой-то витрины и следил за «тройкой». Ген хмелел заметно, лицо его посоловело, голова часто свешивалась вперед, и он с трудом уже поднимал ее, когда провожатые подталкивали и приобадривали его. Публика шарахалась в стороны и пугливо оборачивалась на рослых гимназистов, как бы танцовавших теперь втроем «чардаш» по тротуару. На моих глазах Ген еще два раза заходил в подъезд и, должно быть, прилично всякий раз вытягивал из проклятого «рыла». После последнего раза он начал буйствовать, стал расталкивать провожатых, громко заревел на всю улицу и начал рваться куда-то вперед. Дамы одна за другой начали покидать улицу; офицеры хохотали и дразнили поводырей Гена, еле сдерживавших последнего и умолявших того остепениться. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется на тротуаре директор, в сопровождении Шекспира и двух гимназических сторожей. Все гимназисты мигом покинули улицу. Коревский и Опмар, как-то глупо пуча глаза на администрацию, еле сдерживали Гена, который, как бык, полез было с каким-то ревом на директора, но его схватили сторожа, и вот теперь вчетвером поволокли в другую часть города, по направлению к квартире последнего.

Оказалось, что Ген не допил немного своей четверти. С ним после этого стали делаться какие-то припадки; он долго был нездоров, лежал в постели у себя дома и не скоро опять появился в гимназии. Педагогический совет решил было исключить всех троих из гимна-

зии, но потом Гену и Опмару как восьмиклассникам позволили кончить школу, а Коревского за последнюю проделку, по совокупности со многими провинностями в прошлом, уволили из гимназии.

Перед самым уже концом учебного года, как бы в заключение ко всему блистательному сезону потрясавших город происшествий, случилось почти одновременно три вопиющих безобразия. Всю гимназию вдруг взбудоражила весть о том, что жена преподавателя немецкого языка, и в прошлом неоднократно строившая рога своему флегматичному добродушному мужу (о чем в подробностях были осведомлены ученики от мала до велика), сбежала, наконец, совсем от него в другой город с молодым студентом, приезжавшим сюда погостить на пасху к своим знакомым, и оставила на руках мужа двоих маленьких детей. Бедный немец, не по летам какой-то изжелта-седой, переносил, однако, мужественно свое горе, не пропускал уроков и сам стал ходить за своими детьми, но гимназисты, особенно в младших классах, явно на глазах у него шептались и хихикали о скандале; тот краснел, очевидно, сильно страдал, но терпеливо сносил от юнцов обиды. Юнцы же на переменах смаковали сенсационное происшествие, и по выражению их лиц я сознавал, какое глубоко растлевающее влияние оказывает на молодые души эта грязь, и ведь она являлась уже третьей по счету с начала года, между тем как на глазах юнцов первые две грязи, Шекспира с Городневой и Ивицкого с Прядковой, продолжались и непрерывно служили предметом похабных рассказов и сплетен среди учеников. Остальные два несчастья ошеломили меня лично, как катастрофы, а горожане, вероятно, пропустили их мимо ушей и скоро о них и забыли.

На одной из перемен натыкаюсь я в писсуаре на миловидного гимназистика Котельского, о котором говорил выше, когда он спьяна прорвал бильярдное сукно. Тогда вся история была ликвидирована очень просто: опытный портной за три рубля искусно заштопал надорванное место, за починку заплатила мамаша Котельского, а папаша ни о чем и не узнал,—вот и все. Теперь, вижу, мальчик, стоя в углу, далеко от меня, чего-то сильно жмется, сильно наклоняя вниз голову и несколько разводит при этом ноги в коленях. В клозете кроме нас никого не было. Я бы не обратил на его позу особенного внимания и уже собрался было уходить в класс, но остановился, услышав подавленный стон. Взглянул, и вижу, что Котельский робко обернулся в мою сторону. Вижу, он бледен, подхожу к нему. Тот весь дрожит.

— Ах, это опять вы, я помню, как вы меня тогда утешали относительно бильярда... но... теперь... я не знаю, что случилось,—произносит он заикаясь и еще больше наклоняет вперед голову. Нагибаюсь и я... и вижу его опухший половой член и две большие гнойные язвочки на нем. Мне стало вдруг так страшно, как будто со мной самим случилось прошлогоднее несчастие. Над своими язвами я в свое время много проплакал и хорошо изучил их внешний вид, чтобы не определить сразу теперь, что у этого миловидного мальчика такое же сифилитическое заражение.

— Я не знаю, что это... уже четыре дня... ужасно больно, прилипает рубашка,—говорит он дрожащим голосом, не поднимая своей головы.

Я стою возле него, чувствую, что лицо мое совершенно бледно, по спине ползает миллион мурашек; это страдальческое ощущение повторяется со мной всякий раз с тех пор, как я заразился этой болезнью, когда я вижу или испытываю что-нибудь ужасное. Мальчик поднял голову, взглянул мне в глаза и, должно быть, увидел в них что-нибудь страшное, потому что задрожал вдруг всем телом и со спазмой в голосе воскликнул:

— Да что же это такое?

Я пришел в себя сразу от последних его слов.

— Вот что, это плохая вещь; вы застегнитесь, сюда может кто-нибудь войти; вот так. Теперь выйдем отсюда, идите в свой класс, а на большой перемене ожидайте меня у спуска за гимназическим зданием. Там мы встретимся, и я вам скажу, что нужно делать,—сказал я ему, и мы разошлись.

На большой перемене я свел его к доктору Шаревичу. Тот в моем присутствии участливо стал расспрашивать, как это случилось, когда и т. д. Оказалось, что мальчика заманила к себе какая-то уличная женщина, и вот произошло сифилитическое заражение.

— Доктор! ведь я это в первый раз, я даже ничего не имел с нею, только прикасался,—боязливо начал оправдываться мальчик.

— Ну, да, конечно, но все-таки,—отвечал сердечно доктор и стал прописывать знакомые мне лекарства.

— Вот лечитесь, но, знаете, необходимо будет все сказать вашему папе. Вы не бойтесь. Мы будем с ним видеться на собрании врачей, ну, я его осторожно подготовлю,—говорил доктор плачущему мальчику. Как ни тайно все было произведено, но после того, как медицинский инспектор, отец Котельского, отправил сына куда-то в другой город для лечения, все вдруг глухо заговорили об этом возмутительном случае. На многих гимназистов это произвело ошеломляющее впечатление.

«Вот опять,—думаю,—произошло несчастие, подобное моему, и мальчик не был подготовлен своим отцом, доктором, да еще медицинским инспектором. О чем же думают родители?»

Этот последний вопрос так и застрял в моей голове, не получая разрешения.

И вот, наконец, последняя, перед закрытием гимназии на летние каникулы, сенсация. Исключенный из гимназии Владимир Коревский был отправлен своим отцом куда-то в другой город к родственникам, с целью выхлопотать для него помещение в тамошнюю гимназию. Не успел этот смазливый юноша покинуть город, как все узнают о том, что старшая из приемных дочек Кокосовых, Женя, забере-

менела от Коревского. Видный «зеленый» генерал спешно отправляет свою супругу, так радевшую о нравственности своих девочек, и бедную Женю, так блистательно оправдавшую радение своей приемной маменьки, в Швейцарию, под предлогом якобы санаторного лечения.

«Так вот,—думаю,—чем кончилось твое изолированное воспитание, гордая генеральша. Твои девочки под прикрытием курьеров ходили в гимназию и из гимназии, не видели никогда «блюдечка», которое так тебе претило, высоконравственная дама; они резвились и веселились под твоим носом, как этого ты сама хотела, — и вот последствия их резвости «на твоих глазах», как ты этим гордилась».

«Значит эти шорохи и заглушенные смешки тогда в темных канцелярских комнатах были не простой игрой в прятки»,—добавил я к своим рассуждениям.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Польская интеллигенция, между тем, с приближением выборов в Государственную Думу, стала проявлять какую-то лихорадочную суетливость, в город понаехало много помещиков со своими семействами. В польском шляхетском собрании и в домах зажиточных поляков балы сменялись балами. Бродя иногда по ночам по городу, я часто простаивал у шляхетского дома на площади, слушая пылающие звуки мазурки и с удивлением глядя на празднично освещенные окна громадного старинного здания, откуда слышался звонкий смех, шуршание тканей и ретивый топот ловких мазуристов, мерно, в такт прихлопывавших об пол, как-то в раз ногами так сильно, что все здание сотрясалось, и мне казалось, вот-вот рассыплется оно, как карточный домик.

Предвыборной кампанией русская часть населения почти вовсе не интересовалась, относился к ней полуравнодушно и я, не сознавая грандиозности этого события и даже с каким-то недоумением наблюдая польскую суетливость и озабоченность, рьяную борьбу партий, в которых я не умел разбираться и о существовании и целях большинства из которых ничего и не знал; отец же мой к этому времени уехал по каким-то делам в Балтийский край, и я ничего не мог от него разузнать об этом. Выборщиками в Думу от русскаго населения были двое: некто Афанасьев, инспектор низших учебных заведений, и Гусев, акцизный чиновник, молодой человек, с высшим юридическим образованием. Обоих я знал только в лицо. О первом я слышал, что это какой-то лютый формалист, школьный чиновник, ненавидимый сельскими учителями и служивший грозой для учеников низших школ, с виду седеющий бородатый мужчина, с дьявольской педагогической хитрецой в пухлом широкоскулом лице. Второй был блондин, лет 32-х, всегда наглухо застегнутый в форменную тужурку акцизного ведомства, ежедневно гулявший в парке, ведя за руки по обе стороны от себя двух маленьких мальчиков и сопровождаемый почти всегда на некотором расстоянии позади его шедшей некрасивой веснущатой дамой, с громадным оттопыренным беременным животом, перекидывавшейся с ним время от времени короткими фразами; он отвечал на них, только слегка поворачивая в бок стриженую голову, укрепленную на мясистой розовой крепкой шее.

Раз как-то вечером, когда я сидел на скамейке один в парке и с некоторым озлоблением наблюдал снующих гурьбой по главной аллее офицеров, громко гоготавших, щелкавших по голенищам стэками и волочивших по грунту свои длинные звенящие шпоры, я заметил невдалеке от меня проходящего по боковой дорожке Гусева, шедшего на этот раз одного. Я быстро встал и пошел к нему навстречу, снял перед ним на почтительном расстоянии фуражку и остановился. Тот с удивлением приподнял свою фуражку, глядя на меня.

— Простите, я с вами незнаком—произнес я в смущении,— но я хотел бы с вами поговорить. Я гимназист шестого класса, Ск-ий, и слышал, что вы кандидат в Государственную Думу — продолжаю.—

— Ах, да,—Гусев!—произносит он, протягивая мне руку .

— О чем же вы хотите поговорить? — спрашивает он, когда я по жимал протянутую мне руку,—давайте сядемте!

Мы садимся на одной из свободных скамеек. Я еще больше смущаюсь, но скоро овладеваю собою.

— Скажите, вы за царя?—спрашиваю я его вдруг.

— То-есть, вы хотите спросить, каковы мои политические убеждения?—переспрашивает он, глядя на меня искоса.

— Ну, да,—отвечаю я с некоторой запинкой.

— Конечно, я признаю, что монархия необходима сейчас в России, и еще долго будет необходима. Наши мужики еще совсем народ темный, его раньше просветить надо, а тогда уже думать о какой-нибудь форме правления,— говорит он тоном уверенным и даже несколько развязным.

— А вы надеетесь, что будете избраны в Думу?— спрашиваю я.

— Навряд ли; будет много кандидатов из уездов; во всяком случае, если бы избрали меня, то я с радостью посвятил бы себя думской деятельности, а если забаллотируют, тогда я брошу чиновничью службу и знаете, куда пойду?— спрашивает он, несколько загадочным тоном.

— Куда?—спрашиваю.

— В священники, в сельские священники,—отвечает он.

Я с удивлением стал оглядывать молодого чиновника с головы до ног, потом с ног до головы, представляя себе, как бы он, правда, выглядел в рясе и с длинными космами.

— Вы удивляетесь? А знаете, это единственный путь в темную народную гущу. Народ нуждается в просвещенных людях, ну, а наши попы глупы и не просвещают народа, и потом вообще меня эта акцизная служба тяготит,—прибавляет он.

— А почему вы пошли в акциз, ведь вы юрист?— спрашиваю его.

— Почему пошел? Видите, я женился рано, и в этом не раскаиваюсь, благодаря этому я сохранил свое здоровье в цветущем виде, никаких этих венерических болезней не знаю, но вот тут же пошли дети, нужны были средства сразу, а по юридической дорожке итти,—

в кандидатах высиживать пришлось бы несколько лет, пока до должности долез бы,— вот и пошел в акциз; тут материальное положение сразу стало прочным. Теперь поокреп, а акцизная служба опротивела.

Я слушал его, испытывая сильную горечь от его слов о болезнях, и с откровенной завистью глядел на его розовые щеки, дородность, тогда как я в то же время чувствовал познабливание и противный вкус металла во рту. От разговора о священничестве меня только коробило.

По смежной дорожке вдалеке показалась вдруг беременная дама, ведя за руки двух резвых мальчуганов. Гусев засуетился.

— Ну, прощайте, будемте знакомы, я к своим!—проговорил он весело, пожал мне руку и почти вприпрыжку направился к даме.

Я с завистью издали смотрел, как он подбежал к своим, как рванулись к нему детки, и горько защемившее сердце сознание потерянного здоровья и, может быть, в будущем и семейного счастья впервые с особенной силой сдавило мне душу.

В парке заиграла полковая музыка, ярко разодетые по-весеннему женщины веселее задвигались по аллеям; офицеры в такт музыке защелкали шпорами; мимо киоска с прохладительными напитками плавно прошли красивые «Цвейки» в голубых атласных блузках, а с ними рядом их сестрица-подросток, с каким-то кислым безучастным выражением в лице. Вдруг замечаю проходящих мимо меня двух крикливо одетых женщин, поднимаю на них глаза и вижу нагло вызывающую улыбку на толстом лице той, что была ближе ко мне.

«Это Стефця!» резнуло по сознанию. Я мигом отвернулся, попал глазами опять на Гусева с его мальчиками; отвернулся и от него, и встал было, чтобы уйти из парка. Как вдруг замечаю, шагах в двадцати от своей скамейки вытянувшегося в струнку, с рукой у козырька, красивенького кадетика, в парусиновой куртке; он смотрит мне в упор и широко улыбается, оскаливая белоснежные зубы.

— Федор Мартынович! это я!— кричит он и бросается ко мне со всех ног.

— Юрочка!— восклицаю я, обнимая своего ученика, который порывисто начинает целовать меня и, задыхаясь, рассказывает, как он первым учеником выдержал экзамен в первый класс Орловского кадетского корпуса.

— Идем скорее к маме!— восклицает он, и мы под руку выходим из парка.

Мадам Р. встретила меня со слезами радости на глазах и подарила красивый порт-папирос с моей и Юрочкиной серебряными монограммами на нем. Я шел домой с радостью за свой первый удачный педагогический опыт, не переставая в душе завидовать здоровью Гусева и удивляться его поповской идее.

В день выборов в Думу весь город оказался разукрашенным плакатами на польском языке; по улицам задвигались подвижные трибуны, украшенные цветами, на площадях устраивались летучие митин-

ги, на которых выступали только поляки. Выборы производились в Народном доме, около которого толпилась масса народа. Когда я проходил мимо этого места, то заметил вскарабкавшегося на что-то высокое Афанасьева, с жаром что-то говорившего и махавшего руками; он был весь в поту. Выбранными оказались от польского населения местный адвокат—Нардовец, а от русского Афанасьев, по убеждениям монархист.

Занятия в гимназии кончились; меня перевели механически, без экзаменов, в седьмой класс, а восьмой еще доканчивал свои бесконечные выпускные экзамены, производившие на меня такое впечатление, что всех этих кутил, пьяниц, развратников и бильярдистов как-будто боится гимназическое начальство выпустить на свободу, тогда как оно только и мечтало, вероятно, весь год, а, может быть, уже многие годы о том, как бы поскорее разделаться со всей этой гадостью. Вдруг, точно разорвавшаяся бомба, треснула по всем головам весть о происшедшем в Белостоке еврейском погроме. Об этом возмутительном происшествии заговорили в городе все, почти без исключения, но заговорили по-разному. Из всех слухов, речей и личных разговоров я вынес какое-то сумбурное впечатление, разобраться в котором сам не мог.

«Убили много евреев,—думал я,—говорят, целые семейства вырезывали, насиловали еврейских девушек, разоряли домашнее добро. Многие утверждают настойчиво, что весь этот ужас совершен при посредстве и с участием агентов правительства. Но что же это за дикость! Как это может быть, чтобы правительство, так радеющее о благе подданных, о порядке и законности, истребляющее революционеров за то, что те стремятся к беспорядкам, само будет вдруг устраивать такие беззакония? Положим, евреи, правда, нехороший народ, и они Россию не любят, но все же из-за этого совершать над ними кровавую резню—это бесчеловечно».

Я видел, что офицеры по поводу погрома поголовно злорадно ликовали; молодые чиновники менее решительно выражались и предполагали, что виноваты евреи, они, мол, сами начали, осквернив не то какой-то христианский праздник, не то святыню; большинство гимназистов совсем свое мнение не выражали и относились по этому поводу безучастно, меньшинство же возмущалось погромщиками; евреи собирались всюду небольшими кучками в сторонках,—лица у всех их были угрюмые и скорбные.

Восьмиклассников, наконец, выпустили, раздав им на руки аттестаты зрелости.

«В чем зрелости?—спрашивал я сам себя.—Ведь в пьянстве, разврате, картежной и бильярдной играх они все уже давно достигли полной зрелости. Может быть, в умственном развитии они достигли теперь зрелости?»—задавал я себе дальше вопрос. Нет, в этом отношении большинство из них не было умнее меня, а себя я считал еще совсем глупым мальчиком. «Тогда какую же их зрелость аттестует

гимназия?»—этого вопроса я так и не мог решить и только с недоумением глядел, как по «блюдечку» в новеньких летних кителях и студенческих тужурках, с тросточками в руках, а в губах с папиросами, а некоторые и с сигарами, с синими околышами на фуражках разгуливали вчерашние гимназисты, демонстративно ухаживая за окончившими одновременно курс гимназистками, вдруг, вместо скромных коричневых платьиц и фетровых беретов, разрядившихся в дамские длинные платья, чуть ли не со шлейфами и нацепивших себе на головы какие-то цветочные корзины. И тех и других все поздравляли с благополучным окончанием, желали счастья и удачной карьеры. «Государству нужны умные, действительно зрелые люди, а эти на что годятся? Они легкомысленные разгильдяи»,—думал я про себя, глядя на дефилирующих новоиспеченных «взрослых со вчерашнего дня».

В тюрьму между тем стали заметно реже сажать, и аресты и обыски как будто на-время в городе прекратились, как вдруг разнеслась весть о том, что арестованы и посажены в тюрьму гимназист Тоболицкий и студент Савинич. Первого как-то спешно, после непродолжительного заключения в местной тюрьме, перевезли в Варшавскую цитадель, как важного политического преступника, как стали все говорить, а Савинич продолжал сидеть в губернской тюрьме.

Я часто в бинокль из своей квартиры смотрел на него, стоявшего себе спокойно за решетчатым тюремным окном; по вечерам, прекрасным, весенним, прохладным, когда в тенистых кладбищенских деревьях начинал щелкать соловей, Савинич иногда громко, полной грудью пел песню: «Солнце всходит и заходит».

«Он революционер,—думал я—значит, враг России, но почему песня эта арестантская такая прекрасная?»—и я с наслаждением слушал ее и даже записал ее у себя с его напева.

Не прошло и недели после последних арестов, как по городу разнесся жуткий слух о том, что в Афанасьева во время ревизии выстрелил из револьвера какой-то ученик городского училища, мстивший выстрелом педагогу за какие-то репрессии. Афанасьев вскоре умер. Одновременно с этим я узнал, что Тоболицкого приговорили за какие-то важные политические преступления к смертной казни и повесили в Варшавской цитадели. Оба случая врезались в мое неокрепшее мышление и заставили сильно вдумываться.

«Видно, подлец был этот инспектор, раз так пришлось ему мстить, а вот Тоболицкого нельзя было убивать, это жестокость излишняя, да и можно ли вообще к смертной казни кого-либо присуждать? Спрошу отца, когда увидимся»,—решил я.

Прошла весна и потянулись знойные летние дни, а с ними от бездействия усилилась скука. Город опустел, товарищей не стало; отец все не приезжал. Стал я рыться в библиотечном шкафу в кабинете: стройно рядышком стояли Тургенев, Лесков, Гончаров, Данилевский. Много из этих томов было бессистемно прочитано мною прежде; теперь по какому-то наитию вынул я два тома Загоскина и ушел к себе.

С этих пор все дни напролет я стал зачитываться историческими романами этого национального художника, к которому вскоре присоединился Лажечников. Теперь уже и ночи стали уходить на чтение этих националистов; читал я запоем, не не глотал, а вдумчиво впивал в себя художественные образы и картины русского дореформенного быта. Многие страницы я тут же перечитывал по несколько раз. В результате этого чтения мои патриотические убеждения еще больше упрочились, а в душе от романов с силой заговорило желание интимной близости с женщиной.

Как-то раз вечером, гуляя по парку, я обратил внимание на двух женщин: одна была в траурном темном платье, несколько приземистая, лет тридцати с виду, другая высокая, стройная, в мордовском национальном костюме, с пестрыми лентами, с очень хорошеньким личиком, лет двадцати с небольшим на вид. Они несколько раз прошли мимо меня на разных аллеях, а один раз мне даже показалось, что высокая женщина улыбнулась, проходя мимо и взглянув мне в лицо. Повинуясь какому-то инстинкту, я стал ходить за этими женщинами, соблюдая приличное расстояние: куда они, туда и я. Траурная ни разу не обернулась, а высокая раза два будто неваначай повертывала голову, и это придавало мне храбрости преследовать их. Вдруг они резко повернулись и направились к выходу из парка. Я за ними. Пошли дальше по главной улице города, вышли за город и остановились у женского католического монастыря. Я все время шел за ними и теперь тоже остановился и смотрел на них, стоя шагах в сорока. Они стали прощаться, поцеловались и разошлись: траурная дама пошла мимо монастырской ограды вбок, а высокая стала медленно подвигаться вперед.

На землю опускалась уже ночь. За городом было тихо. Звезды над моей головой золотыми кружочками унизывали небо. Сердце в груди моей стало вдруг бить мелкую дробь: я смотрел в каком-то оцепенении на звезды, потом на силуэт стройной женщины, исчезавшей в сумраке пустынной улицы. Громкий лай собак за монастырской стеной вывел меня вдруг из неподвижности, и я решительно шагнул за уходившим вперед силуэтом. Еще настойчивее, даже с болью застучало сердце; с трудом раскрываю рот и языком непослушным и голосом робким произношу:

— Простите, я все время шел за вами из самого парка... можно мне к вам подойти?

— Можно, проводите меня до дому, тут недалеко, — отвечает металлически ясным и совершенно спокойным и неудивленным голосом женщина.

Тогда я смело с нею равняюсь, поднимая фуражку, произношу свою фамилию и протягиваю ей руку.

— Столбина, Ольга Павловна!—говорит она, отвечая мне рукопожатием.

— Однако вы далеко живете,— произношу я, не зная, с чего начинать разговор.

— А вы боитесь глушн? Тут вас могут искусать собаки, — отвечает она мне насмешливо.

— Я ничего не боюсь, а вот к вам подойти боялся.

— Правда? очень боялись? Оно и понятно, ведь я замужняя женщина, мой муж офицер, очень ревнивый, очень сильный, — говорит она.

— Ах, вы замужем? Боялся я не мужа, а просто так заговорить, подойти боялся.

— Какой робкий! вы давно здесь, вы в котором классе? — спрашивает она быстро.

— В седьмом, а в городе около года.

И начался разговор, откуда я, кто мой отец, в каком полку служит ее муж и т. п.

— Ну, я здесь живу, вот в глубине этого сада. Дальше вам нельзя, искусает собака. Приходите завтра вечером в парк. До свидания,— быстро проговорила она, наскоро пожала мне руку и юркнула в калитку, а я остался стоять на месте, прислушиваясь к стихавшему шелесту ее платья, потом к скрипу двери где-то в отдалении.

Дальше все стало тихо. Я поднял голову, влип своим взором в золотое звездное небо и стал вдыхать пряный ночной аромат, струившийся из множества окружавших меня садов, деревья в которых какими-то страшными силуэтами очерчивались над звездным горизонтом, напоминая полегших на землю и сейчас спящих громадных чудовищ. Лай собак по близости вывел меня из созерцательной задумчивости, появилось даже опасение, как бы они меня действительно не искусали. Медленно, озираясь по сторонам и непрестанно оступаясь о рытвины незамощенной улицы, я добрался, наконец, благополучно до уличных фонарей и дальше смело зашагал к своему дому. И голос, и лицо, и улыбка, и черные крутые брови вплотную стояли в моем воображении, долго мешали уснуть, потом преследовали меня весь день до вечера, пока воображение не перешло опять в реальность в том же парке.

—Это мадам Ветаржи! Познакомьтесь! — произнесла Столбина, указывая мне на вчерашнюю даму в трауре, шедшую опять рядом с нею.

Я представился, но сразу стал скучным.

— Нет, не молчите, а рассказывайте дальше о себе. Ну, за кем вы здесь ухаживали из барышень за весь год? Влюбились? интересно, какой у вас вкус? — спрашивает задорно Столбина.

Я отвечаю, что не ухаживал ни за кем, утаив о неудачных своих воздыханиях в прошлом,—например, о Мергиевской. Разговор дальше перешел на погоду и на критику гуляющей публики. Я провожал обеих дам опять до монастыря, у которого они распрощались, и я стал со Столбиной итти дальше один.

—Хотите зайти ко мне? Давайте посидим у нас на балконе! — предложила она, когда мы дошли до ее калитки.

— Хорошо, я посижу, — ответил я, почему-то сдержав себя, когда хотелось ей ответить, что я ничего больше и сильнее в жизни не хочу, как быть сейчас и разговаривать с нею.

— Идите следом за мной, тогда Тиран вас не укусит, идите смело. Ах ты, песик, Тиранчик! не смей кусаться! Не пачкай меня!—говорила она подбежавшей собаке, когда мы проходили темным, заросшим травою двориком.

На стук в дверь нам отворила полусонная прислуга, и мы вошли в освещенную висячей лампой небольшую столовую.

— Хотите поужинать?

— Нет, спасибо! — отвечаю.

— И я не хочу. Ну, вот, пойдем на балкон,—произнесла она, снимая с себя на ходу соломенную широкополую шляпу и бросая ее на кушетку.

— Марыська, иди спать! — крикнула она уже из другой комнаты прислуге.

Я последовал за нею в темную комнату.

— Вот сюда, не спотыкнитесь о ковер! — произнесла она весело, и мы почти одновременно очутились у раскрытой на балкон двери.

Зрелище меня сразу очаровало. Замигали на меня звезды, зашелестели вчерашние спящие чудовища, в траве внизу застрекотало несколько десятков кузнечиков сразу; подул ветерок, между пузатыми балконными столбиками забегали светящиеся ивановы червячки. Я сразу вздохнул от какой-то большой, на меня нахлынувшей, радости, но тут же вдруг вспомнил: «Вот, такие же торжественные ночи были ровно год тому назад, когда я молился в саду, одиноко стоя в траве на коленях, богу, в другом городке о том, чтобы отвел он от меня страшное несчастье: вот те же звезды мигают в страшной высоте, такие же кузнечики неугомонные звенят в траве; а за это время, за эти 365 дней, как резко все передернулось в моей жизни: страшная болезнь впилась-таки когтями в мое хрупкое тело, новый город, грязные скандалы, политические странности, борьба в гимназии, а теперь, вот сейчас, куда я пришел?». Из невольно нахлынувшей на меня грусти меня вывел мелодичный голос Столбиной:

— О чем вы задумались? Давайте сядемте! Как хорошо сейчас, какое небо, какой чудный запах! — заговорила она восторженно, когда мы поместились на садовых плетеных стульях на балконе.

— Да, красиво здесь, хорошо! — произнес я, все еще не будучи в состоянии отделаться от мрачных мыслей, от которых по телу стал ползать знакомый ненавистный мне озноб, и уже деревья стали превращаться в страшных чудовищ, и как будто холодно мне вдруг показалось.

— Отчего вы вдруг грустный стали? — произнесла она участливо и прикоснулась своей теплой рукой к похолодевшей моей кисти.

Я задрожал, порывисто схватил ее руку, уставился глазами в ее лицо и застыл. Она была близко от меня; при свете звёзд я ясно различал задорную улыбку на ее красивом овальном лице, обрамленном черными завиточками. Глаза ее блестели. Не отнимая своей руки, она кокетливо произнесла.

— А вы меня не боитесь? Я опасная женщина! Могу в себя влюбить кого угодно, а потом равнодушно отвернуться, и тогда бывает больно влюбленному. Вы такой задумчивый, можете сильно влюбиться в меня, если бы я захотела, а потом смотрите, как бы не началась мука!—говорила она мне, то придвигая ко мне свое личико и почти касаясь моей щеки своими волосами, и тогда трепетный ток пробегал по всему моему телу, то отгибаясь назад к спинке своего стула и сдержанно тихо смеясь, поблескивая в сумраке белыми, как яичная скорлупа, матовыми зубами — и тогда начинал мутиться мой рассудок и звезды в глазах как будто начинали кружиться в каком-то хороводе.

— Какая может быть мука? Я одинок. Мне очень тоскливо. А вы допускаете, чтобы я мог полюбить вас?—спрашиваю после некоторого молчания.

— Уверена! — отвечает она и смеется долго, откинувшись к перилам балкона, и вдруг резко отрывает от меня свою руку. Мы долго молчим.

— Расскажите мне о себе, о своей семье, есть ли у вас братья, скажите о вашей матери, — говорит она, глядя как-то мимо меня. Я рассказываю.

— Неужели? Ах, боже мой! Так-таки все умерли. Какой ужас! — проговорила она серьезно, перестав смеяться и глядя теперь мне участливо в глаза.

Мы посидели еще немного; становилось на воздухе прохладно; я простился, машинально поцеловал ее руку и, когда прикоснулся к ней губами, вдруг сильно смутился от своего бессознательного поступка, но в темноте она, вероятно, не заметила этого, заторопился и быстро пошел домой, условившись с нею встретиться завтра в парке.

С тех пор мы стали видеться почти каждый день: встречались в парко, гуляли, по большей части втроем, с Ветаржи, которая была ее близкой знакомой, потерявшей недавно мужа и теперь ходившей в трауре. Часто к нам подходил коренастый рыжеватый большой драгунский офицер, здоровался и потом сразу уходил вперед с Ветаржи, а мы со Столбиной следовали за ними на некотором расстоянии вдвоем. Если рыжий драгун к нам присоединялся, то потом как-то незаметно Ветаржи с ним исчезала куда-то, и мы возвращались со Столбиной одни; если он не присоединялся к нам, то мы втроем доходили до монастыря, а потом уже вдвоем до дома Столбиной. Когда мы останавливались у ее калитки, она неизменно предлагала мне вопрос.

— Ну, что же, вы сегодня зайдете?

— А я вам не надоел еще и не скоро наскучу, если и сегодня зайду?—отвечал я ей всегда вопросом на вопрос.

Она как бы задумывалась, потом задорно улыбалась и говорила:

— Нет еще, впрочем, как хотите, я вас не неволю.

— Ну, тогда я зайду еще сегодня, — отвечал я, и мы входили в ее квартиру, иногда ужинали, а потом шли на балкон или в гостиную, сидели и говорили о пустяках.

— А хотите посмотреть на моих деток? — предложила она мне однажды, после продолжительного молчания с обеих сторон.

— Да, покажите, пожалуйста! — ответил я.

— Ну, пойдем в детскую, только тихонько, чтобы их не разбудить; вот сюда! — проговорила она, вставая и направляясь через столовую.

Я последовал за нею. В маленькой детской, освещенной тусклым ночником, я увидел две маленькие кроватки и одну большую, с которой тяжело кряхтя, стала подниматься пожилая женщина с испитым сонным и недовольным лицом.

— Что, няня, спят? — спросила Столбина женщину, уже ставшую на ноги.

— А что им, барыня, делается?—прошептала та.

— Вот это — Костя, ему скоро будет три года; а это Манечка,—ей полтора года. Ах, ты, пампушечка!—добавила ласковым шопотом Столбина.

Я смотрел на разметавшихся на своих кроватках здоровых деток, шевеливших во сне алыми губками, на их розовые пухлые щечки, на толстые ручки, перетянутые у запястий ниточками, и не знал, как отнестись к этому зрелищу. Посмотрел на Столбину: та, как мне показалось, стояла совсем равнодушная к спящим деткам.

— Ну, насмотрелись? — шепнула она, — пойдем, — и повернулась к выходу.

Когда я поворачивался за нею, то невольно придержал свой взгляд на лице няньки; она глядела на меня злыми глазами и что-то шептала, шевеля старыми отвислыми губами.

— Ну, что, нравятся? — спрашивает Столбина, когда мы снова усаживались на диване в столовой.

— Да, милые, здоровые детки, — говорю я, как-то растягивая слова.

— Скажите, вы давно замужем? — спрашиваю я затем.

— Четыре года. Я вышла замуж восемнадцати лет.

— Значит, вам сейчас 22 года, вы такая еще молодая и уже такие дети, — отвечаю я.

«22 года, — думал я при этом про себя, — значит, вот такая же была моя мама, когда я был маленький; вот так же, незадолго до ее смерти, лежал и я безмятежно в своей кроватке трех с половиной летним ребенком, как вот этот Костя сейчас, и ни о чем страшном тогда не думал; не думал, что умрет мама, а после нее еще две чужие мамы умрут, что меня будут ужасно бить, что потом я заражусь страшной болезнью,—не думал, а спал себе спокойно, как Костя сейчас, и так же шевелил своими алыми губками. Как странно и как страшно все».

— Покажите, пожалуйста, портрет вашего мужа! — произнес я, очнувшись от своих размышлений.

— Извольте, пойдемте в столовую, тут темно,—вы ничего, не увидите, — ответила она, взяв в руки со столика рядом массивный альбом, и мы пошли в столовую.

— Вот тут он еще в кадетском корпусе, тут юнкером, уже стал за мной ухаживать, тут офицером, вскоре после нашей свадьбы, а вот последний снимок, — говорила она, перелистывая толстые с золоченым обрезом папки альбома и показывая пальцем на карточку.

«Тут юнкером, в моем возрасте, женихом уже», — подумал я, пристально всматриваясь в сильного юношу, обтянутого в военный мундир, веселого и жизнерадостного.

«А я грустный, всегда болезненный»,—подумал я с горечью.

— Где он сейчас, ваш муж? — спросил я, когда мы опять вернулись с нею в полутемную гостиную.

— В лагерях, на маневрах. Он сильно убеждал меня тоже ехать туда с детьми, но я не согласилась: здесь живет моя мать, знакомые, а муж иногда приезжает на велосипеде.

«Так, — думаю, — в каком это я положении? Положим, я ничего плохого не делаю: прихожу, мы разговариваем, иногда, правда, я целую подолгу ее руку, но это она называет шалостями. Не врываюсь ли я в чужой дом, в чужую семью, как вор?—Нет, ведь мы только разговариваем и гуляем»,—утешал я самого себя.

Как-то раз мы сидели на диване в гостиной глубокою ночью и разговаривали о сплетнях города, о Гене, о Скрыпине, о Коревском, которых она хорошо знала как своих сверстников, живя с ними долго в этом городе; она мне рассказывала, какими они раньше были скромными мальчиками, и странно, что они стали теперь такими бесшабашными пьяницами. Вдруг она обрывает этот разговор и произносит:

— Знаете, вы мне нравитесь, вы такой задумчивый, странный.

— Вы мне тоже нравитесь, но я боюсь...

— Чего?

— Влюбиться в вас, — отвечаю я полусерьезно.

— Вот как! Ну не бой...! — она не докончила, быстро взмахнула рукой, пригнула мою голову к своему лицу и сильно меня поцеловала.

На мгновение я лишился сознания, обнял ее и стал осыпать поцелуями все ее лицо, волосы, шею, грудь, но вдруг пришел в себя, остановился и закрыл глаза, не выпуская ее из своих объятий.

— Что с вами? — спросила она.

— Что я делаю? — прошептал я.—

«Ведь вот, я так осуждал Ивицкого, того студента, который разбил семью немца. Что же я теперь делаю?»—думал я в эту минуту про себя.

— Ха-ха-ха! — засмеялась она и высвободилась из моих объятий.

— Что вас смутило? — спросила она.

— Вы чужая жена, у вас есть детки, как же я?..—отвечаю ей в смущении.

— Ну, знаете, на этот счет у меня особые взгляды: я считаю, что изменять мужу нельзя, а целоваться можно. Ведь если я не отдаюсь

другому мужчине, значит, я не грешу против мужа, — проговорила она тоном какой-то уверенности.

— Тусса, Тусса, Ту-у-у-сса — мека ман ча-чо-о—целова-аться—го-ря-чо! — запела вдруг она грудным тихим пьянящим голосом, всплеснула руками, слегка повернулась на диване и со всего размаха упала навзничь верхней частью тела мне на колени и замерла.

Я едва успел подхватить ее голову и плечи в свои руки и с очарованием стал смотреть на ее прекрасное лицо, на пушистые изогнутые ресницы перед ее закрытыми глазами. Уж забрезжил свет, еще через несколько минут заиграли в воздухе гостиной робкие розовые отблески всходившего солнца. Ее пухлые, сочные, багровые губы зашевелились, высокая грудь поднялась и слегка заколыхалась. Я задрожал, крепко сдавил ее упругий стан и упал своими губами на ее пылающий рот. Начались неистовые поцелуи.

Солнце всходило все выше, в открытую балконную дверь врывался душистый утренний воздух и щебетанье пернатых крошек, а мы продолжали упиваться поцелуями.

Через некоторое время она очнулась, открыла глаза, улыбнулась, поднялась с моих колен, потянулась и проговорила:

— Ну, теперь идите домой, а то проснутся соседи, вас увидят, будет неловко.

Я поцеловал ее руку и ушел домой какой-то пьяный, с тяжелой, но счастливой головой, и радуясь, и о чем то недоумевая; не раздевался, как сноп повалился я в свою постель и заснул до вечера.

Теперь почти ежедневно, кроме дней, когда приезжал к Столбиной ее муж, мы встречались, гуляли по парку, потом шли к ней, садились в гостиной на диване и, почти ни о чем не разговаривая, бросались в объятия и безумно, подолгу, до лучей солнца предавались бесконечным поцелуям. Эти однообразные, никогда не утоляемые ласки волновали меня ужасно, производили страшное напряжение во всем моем организме и часто сопровождались знакомым мне по онанизму финалом. Временами, когда она в полузабытьи лежала на моих коленях и только непрерывно впивалась своим чувственными ртом в мои губы, давно уже пробудившийся и все время бодрствовавший зверь во мне с силой толкал меня к обладанию ее прекрасным телом, и я делал иногда инстинктивные движения, чтобы сорвать с нее одежды и растерзать ее; она в такие моменты довольно спокойно, не открывая своих глаз, как бы отстраняла меня своей свободной, не обвитой вокруг моей шеи рукой и продолжала еще сильнее впиваться в меня своими губами, а я продолжал млеть в неиспытанном мною прежде никогда сладострастном угаре.

«Я не имею права обладать чужой женой — говорил я часто сам себе, уходя от нее с восходом солнца домой.—Это нечестно, подло, за спиной обманывать человека, незнакомого мне, имеющего от нее детей. Значит, нужно продолжать сдерживать себя и довольствоваться этими безумными поцелуями. Но я слабею с каждым днем; когда смо-

трю в зеркало, то удивляюсь желтизне своего лица. Что же будет дальше, ведь я не могу уже себя сдерживать?»—задавал я сам себе бесконечные вопросы.

А дальше было вот что. Ее муж приезжал к ней два-три раза в месяц, на один—на два дня. В эти дни я иногда уходил в знакомый мне частный публичный дом к проститутке. Было мне после каждого такого посещения мерзко, противно, я никогда Столбиной об этом не говорил, но чувствовал себя после несколько успокоенным, хотя и неудовлетворенным.

— Я страшно люблю поцелуи. Вот муж мой не умеет целоваться. В поцелуях вся поэзия, а сношение это проза, я достаточно утолена мужем, — говаривала она мне иногда.

Зверя в себе, которого она доводила всегда до белого каления, я обуздывал рассуждением о долге своем быть честным, не разбивать чужой семьи; так и продолжались эти неистовства, медленно, но прогрессивно подтачивавшие мои и без того надорванные в прошлом силы.

Через месяц таких отношений я стал чувствовать с нею скуку. Меня все время занимали разные вопросы—и политические, хотя я газет и не читал и даже не знал, как протекает в это время деятельность первой Думы в Петербурге, вопросы о семье, об обществе. Я часто заговаривал с нею на эти темы, но она дальше некоторого словесного соболезнования моему семейному положению не шла; в политике держалась абсолютного монархизма, общественные же вопросы ограничивались у нее сплетнями. Мне не к кому было обращаться, а с нею было скучно, а вместе с тем дурманящие ласки влекли меня к ней, и я не отставал от нее. Отец мне изредка писал письма, в которых описывал свою новую деятельность в крестьянском поземельном банке, говорил, что скоро, вероятно, приедет сюда, а потом, вероятно, все мы переедем жить в Балтийский край; просил внимательно следить за семьей. В семье же все шло однообразно: Всеволод по целым дням развлекался велосипедной ездой, водился с товарищами и со мной общался мало, а младшие детишки копались себе на могиле матери, сажая и поливая на ней цветы, а то уходили с бонной в поле и там играли себе втроем.

Как-то в один из очередных приездов к Столбиной мужа, почему-то на целую неделю в этот раз, я вышел за город. Вечерело. Сбоку от дороги, на верхушке небольшой горы, шагах в трехстах от себя замечаю какого-то одиноко стоящего человека, озаренного солнцем. Я свернул с дороги, подошел к горе и стал на нее подниматься с теневой стороны. Когда я взобрался, то сразу был ослеплен потоком яркого солнечного света, закрыл глаза, а когда снова открыл их, то увидел невдалеке небольшого роста офицера средних лет, стоявшего на бугорке без фуражки и глядевшего в пространство.

«На что он смотрит, куда смотрит?» удивлялся я, равнодушно окинув взором окрестность; перед глазами были все холмы, дальше

хвойный лес, поверх леса медленно плыли облака, в лучах низко стоявшего к горизонту солнца.

— И вы пришли полюбоваться? — спрашивает вдруг, слегка повернувшись ко мне, офицер.

«Чем полюбоваться?» думаю про себя.

— Да, вот, прекрасная картина! Замечаете, как все кругом начинает притихать,—и листья, и вот стадо там в долине, даже ветер; а солнце так медленно красиво опускается все глубже, и делается все краснее, — как-то задумчиво-медленно продолжал офицер.

Я насторожился, стал внимательнее оглядывать местность, и уже через несколько минут стал сам проникаться каким-то благоговением перед природой.

«Как это я раньше никогда не думал о закате солнца, не любовался никогда созерцательно природой; да мне никто и не указывал на эту сторону жизни, ни учителя в школе, ни старшие товарищи, ни отец, ни знакомые»,—думал я про себя и удивлялся.

— Вот коснулось, видите, и как будто сплюснулось, а лучи пошли гигантским веером, и как окраска на всем сразу зарумянилась! — произнес любовно офицер.

«Да, правда, так, как он говорит», отозвалось в моей душе.

Солнце медленно погружалось за лесной гранью; я стоял неподвижный, как будто даже затаив дыхание.

— Какая прелесть! Но восход солнца! Какое это зрелище! — проговорил он про себя.

— А вы часто любуетесь восходом солнца? — вдруг спросил он меня, когда я подошел к нему ближе.

Мне сразу стало стыдно, хотелось провалиться сквозь землю и я радовался только тому, что он не смотрел на меня в это время, а продолжал свое созерцание.

«Никогда я о восходе солнца не думал и даже не предполагал, что им можно любоваться», хотел я ему откровенно ответить, но вместо этого, как-то заикаясь и растягивая буквы в словах, произнес:

— Нет, очень редко, всего несколько раз в жизни я видел, как восходит солнце.

— А я так очень часто любуюсь этой величественной красотой. Всегда почти на маневрах и во время дежурства, когда я со всей частью нахожусь возле какого-нибудь имения, я велю себя будить перед рассветом, встаю и ухожу на какое-нибудь возвышенное место, сажусь там и любуюсь выдвигающимся из-за горизонта светом, — говорил офицер, а я весь обратился в слух и только боялся, как бы тот не обернулся ко мне и не вздумал бы расспрашивать меня о моих на этот предмет впечатлениях.

— Вот, ведь, большинство людей ходят, топчут землю, глазеют по сторонам, гуляют по каким-то тротуарам, скверикам или садам и даже не интересуются природой, — продолжал офицер, как бы разговаривать с самим собой.

— Вот видите! — Скрылось, последний краешек опустился за лесом. Но облака! Обратите внимание вот на то, похожее на матовые роскошные лебединые крылья, и как оно зарделось сейчас, как легко на нем разлился багряный пурпур! Или вот эти завиточки! — продолжал восторженно офицер, протягивая вперед левую руку и медленно шевеля при этом в воздухе пальцами.

Во мне же после каждого его слова что-то как будто в груди начинало отрываться и шевелиться; от каждого его сравнения в воображении моем зарождались величественные образы; в душе начало будто что-то перекипать, и появилось желание вдруг громко закричать от какого-то нового восторга.

— Тухнет, меркнет, воздух увлажняется. Вот там, в долине сгущается сумрак и уже заметны легкие дымочки тумана. Прелестно! Ну мне пора домой! — вдруг проговорил он, повернулся ко мне, и мы пристально взглянули в глаза друг другу.

— Вы останетесь еще, прощайте! — сказал он через несколько секунд, козырнул и сделал шаг в сторону от меня, но я приподнял свою фуражку и проговорил:

— Простите, я тоже вернусь в город, позвольте представиться и итти с вами вместе.

Я назвал себя и протянул ему руку.

Тот вторично козырнул и ответил, пожимая мою руку:

— Капитан Колиберский. Очень охотно, идемте, — и мы пошли вдвоем к городу.

По дороге он говорил мне о красоте, о том, что живет природой, что вся жизнь полна тайны, что все в мире, все явления это загадки, что созерцание есть высшее наслаждение. Во мне все трепетало от совершенно новых для меня понятий; я мог тольк робко переспрашивать его и тем обнаруживал всю свою наивную слепоту. Мне сразу захотелось почаще с ним видеться, спрашивать, слушать его, и я ему это высказал, когда мы вошли в город и направились к казармам его пехотного полка.

— О, с удовольствием, созерцать вдвоем еще приятнее бывает, но, к сожалению, я еду сегодня с отрядом солдат в дальний уезд губернии на охрану казенного имения и вернусь не скоро. Во всяком случае, когда вернусь, милости прошу ко мне пожаловать, вот в тот флигель, с того хода, квартира, в верхний этаж. Ну прощайте, чаще любуйтесь восходом!—произнес он, пожал мою руку и быстро зашагал к своему флигелю.

«Так, значит, я до сих пор жил, как слепой, а мне уже почти семнадцать лет, — подумал я про себя, когда остался один. — Ведь каждое утро вот уже больше месяца я провожу ночи напролет в этих неистовых поцелуях; в природе в это время поднимается солнце, но я вижу только будто сквозь сон отражение его лучей в зеркале гостиной, от обоев, от картинных багетов, и ухожу потом домой, когда все уже залито солнцем и похоже не на раннее утро, а на обыкновенный день. И что это я делаю, чем я любуюсь, о чем я разговариваю, чем я живу?»—вопрошал я самого себя с недоумением.

«Я любуюсь красивой женщиной, с которой мне давно не о чем говорить, гублю свое здоровье через эти неутоляемые ночные неистовства, пачкаю свое тело потом в публичном доме, а где же у меня то созерцание, о котором говорит этот странный офицер, так непохожий на военных завсегдатаев парка и Большой улицы? О каких тайнах говорил он?»,—спрашивал я себя, бредя медленно, понуря голову, домой и ясно чувствуя в своей груди, что там что-то новое начало жить.

Уже издали, когда я приближался к тюремной ограде, до слуха моего долетело пение.

— Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно!—пел Савинич.

Я остановился, высоко поднял голову и замер.

«Вот в чем красота этой песни!—подумал я.—Нужно, значит, познать лишение свободы, тогда только оценишь красоту жизни, захочешь созерцать восходы и закаты», продолжал я свои размышления, приближаясь к своему дому.

«Ну стой же! Завтра же утром выйду посмотреть на восход солнца», решил я, наскоро отужинал, заперся у себя в комнате и отдался чтению «Брынского леса».

Когда небо начало бледнеть, я потушил лампу, накинул на себя тужурку и вышел из дому. Сразу же мне стало холодно, утренний туман облепил меня, безмолвие в природе пробудило жуть, вид унылого, в каких-то, клочьях, напоминавших обрывки серой вуали, кладбища стал гнать меня подальше от грустных воспоминаний, и я быстро, из желания согреться, пошел к дальнему холму. Туман долго не хотел рассеиваться, небо, казалось, и не прояснится никогда от медленно волочившихся по небу на восток облаков. Мне было холодно, я весь дрожал, по коже ползали знакомые проклятые мурашки и, когда небо начало немного розоветь, во рту у меня стала набиваться слюна с примесью противного ртутного вкуса, лицо съежилось и в глазах стали летать белые шарики.

«Не дождусь я, видно, никогда этого «прекрасного зрелища», — думал я про себя, дрожа всем телом и сдерживая свои челюсти, чтобы не стучали зубы.

Потом как-то косо, краешком, в разрез угловатых, растянутых мрачных облаков, выдвинулся из-за горизонта медный диск и стал медленно раздвигать в облаках щели, из которых начали вырываться косые острые, длинные, подобно раскиданным снопами, ослепительные, резавшие мне глаза, полосы. Зубы у меня неистово застучали; поднявшийся ветер стал пронизывать до мозга костей, окоченели ноги и руки. Я не досмотрел восход и бросился бежать домой, оставляя за своей иззябшей спиной до половины высунувшееся из-за горизонта солнце.

«Что со мной? Почему мне так плохо, так ужасно кружится голова?»—спрашивал я сам себя, когда добежал до дому. Проходя через гостиную, я взглянул, увидя в зеркале свое изможденное лицо

с впалыми глазами и щеками, съеженное, с землисто-желтым оттенком; я стал тереть щеки ладонями, тоже холодными, начал протирать глаза, потом бросился в постель, не раздеваясь, укрылся одеялом и долго еще дрожал и думал с ужасом, что это со мной, пока не забылся сном.

С тех пор я стал чувствовать себя все хуже, явилось постоянное недомогание, непрерывное головокружение, а знакомое мне и раньше чувство ползания мурашек и дрожание стало повторяться почти ежедневно. Несмотря на такой неудачный опыт с восходом солнца, я теперь не переставал думать о словах офицера, стал еще более серьезен, вдумывался глубже в читаемых националистов и решил все-таки в скором времени повторить опыт с солнцем, думая произвести его вдвоем со Столбиной, наперед предположив, что она, во-первых, согласится на это, а во-вторых, что мне с нею вдвоем не будет так не по-себе. Через несколько дней я получил от нее записку с извещением, что приходить можно. Когда я вечером пришел, она протянула мне руки, но я пожал их, не поцеловав. Мы сели на кушетку в столовой, и я, полуоборотясь к ней, заговорил о том, что есть на земле солнце, что есть что-то высшее, чем земное понимание, что есть кроме того жизнь ума и души.

— Каждый вечер мы,—продолжал я,—сидим с вами до позднего утра на диване в гостиной, спиною к восходящему солнцу. Мы видим только отражение его лучей, не обращая на него внимания, и предаемся ласкам, говоря друг другу банальности о душе, и об уме забываем. Почему мы так живем, одну только сторону жизни переживая, когда...

Но она уже не слушала меня, повернула свою голову, насмешливо скривила губы и с иронией произнесла:

— Так вот, посидите до утра на балконе, подождите восхода солнца, а я пойду спать и меня трогать не смейте.

Я упрямился было, хотел ей объяснить, откуда у меня эти новые мысли, протянул к ней руку, но она ее оттолкнула. Я недоумевал, стал сидеть молча, невольно прислушиваясь к мерному стуку маятника на стенных часах и к беззаботному посапливанию, должно быть, Кости, доносившемуся из детской.

— Простите,—прошептал я,—я не буду...

Она кокетливо колебалась, потом поцеловала, и все пошло по-старому: мы продолжали, лаская друг друга, я—сидеть, а она—полулежать в гостиной на диване, забывая о солнце, о жизни, обо всем.

Невдолге после встречи с офицером я получил от отца письмо и сразу удивился, почему конверт такой плотный. Распечатываю и вынимаю длинное послание отца и какие-то исписанные листочки. Читаю и прихожу в ярость. Отец извещает меня о том, что он уже переведен на новую должность в Балтийский край, что скоро приедет и перевезет всю семью к себе, но происходит непредвиденная загвоздка:

«Малого Адриана,—пишет отец,—принимают здесь в первый класс гимназии, а тебя и Всеволода здешний директор отказывается

принимать, мотивируя тем, что у тебя, мол, по поведению четверка, а у Всеволода тройка. Я возмутился, стал настаивать: тот показывает мне законы, по которым с тройкой по поведению принимать в другую гимназию нельзя.

«— Хорошо,—отвечаю ему,—ну, а старшего моего сына, с четверкой, на каком основании вы отказываетесь принять?—спрашиваю. Тот начинает мне много говорить,—обо всем я тебе расскажу, когда увидимся, а потом вынимает кондуит (слово это означает «штрафной журнал») и начинает водить пальцем по многочисленным заметкам, написанным мелко, красными чернилами.

«— Что это?—спрашиваю.

«— Это провинности вашего старшего сына, которые он совершал в бытность свою в двух последних гимназиях,—отвечает язвительно тот.

«Я начинаю при нем перечитывать заметки.

«— Что касается предпоследней гимназии,—говорит он мне,—это мы отбросим, но вот что он натворил в последней.

«Прочитав несколько исписанных страниц, я спрашиваю его, кто это все писал.

«— Это классный наставник его, преподаватель Толяк,—отвечает тот.

«— Тогда позвольте мне снять копии с некоторых из заметок,—говорю ему.

«Тот пожимает плечами и говорит: «Извольте».

«—Я списал десятка два, и вот тебе посылаю, полюбуйся. Советую тебе пойти к этому мерзавцу, Толяку, положить перед его носом эти листочки и пригрозить ему, что если, по его милости, тебя в другую гимназию не примут, то ты приедешь назад и изобьешь ему физиономию»,—кончает свое письмо отец.

Лихорадочно стал я прочитывать приложенные отцом листочки, исписанные тоже, вероятно, для большего комизма, красными чернилами, как писалось в кондуите. Чего-чего здесь не было: и случаи с тужуркой, и опаздывание на молитву, и курение папиросы, и ношение тросточки, но вот, дальше следовали повествования о коноводстве в деле Трамоцкого, и об агитации в деле Баревича. В заключение Толяк приложил следующую резолюцию от себя:

«Ско-ий нрава строптивого, характера неуживчивого, человек, не повинующийся никаким порядкам и требованиям начальства и представляющий из себя элемент нетерпимый в учебном заведении. Классный наставник Толяк».

Тяжелые мысли поплыли в моем сознании после чтения отцовского письма и листочков.

«Опять уезжать в новый город, опять другая гимназия!» с досадой подумал я.

«Уезжать от Ольги Павловны мне будет ужасно тяжело»,—стала колоть вторая мысль. Но оба соображения подавила запылавшая во мне злоба против Толяка.

«Так вот ты как, из-за угла в спину мстишь мне за инцидент с тройкой по истории! Погоди ты мне!»

Было послеобеденное время. Я нарочно вырядился в недозволенный гимназическими правилами форменный китель, взял в руки палку со свинцовым набалдашником и направился на квартиру к педагогу.

Как ни мало я за это лето прочел, но успел все-таки значительно умственно развиться и даже в собственных глазах, как мне казалось, вырасти. Последний толчок, данный офицером-эстетиком, открыл мне несколько глаза, хотя и очень односторонне, на вселенную, и вызвал сознание необходимости вырабатывать собственное миросозерцание. Все происшедшее в этом городе за последний год, все эти скандалы, гимназические тяжбы и весь вообще гимназический строй,—все это в моем сознании получило теперь несколько иную, а не только эпизодическую, как это было раньше, окраску. Я инстинктивно чувствовал, что во всем этом есть нечто общее, какая-то объединяющая окружавшее общая причина. Какая, я пока додуматься не мог, и только в душе своей чувствовал, в связи с последним обострением своих недомоганий, наростание недовольства жизнью. Теперь этот педагогишка подливает еще масла в огонь.

Во мне все клокотало, когда я подходил к его дому, поднялся по лестнице на второй этаж и позвонил. Вышедшей ко мне прислуге, деревенской девушке, я коротко заявил, что хочу говорить с учителем. Та юркнула в дверь направо и стала что-то шептать, а я остался в полутемной прихожей.

— Вам что нужно?—произнес Толяк, высунув свою маленькую головку в притворенную дверь в противоположный стороне.

— Мне необходимо с вами поговорить,—ответил я со спазмой в горле.

— А что? насчет чего? пожалуйте,—замямлил он суетливо и больше приоткрыл дверь.

Я снял фуражку и с палкой в руках вступил за ним в небольшую светлую комнатку, с мягкой мебелью и с детской кроваткой у правой стены, возле которой сидела пухлая, несколько растрепанная молодая толстая женщина, с какой-то кислой физиономией, и качала на руках ребенка, перекладывая пеленки, измазанные желто-зелеными пятнами; в воздухе стоял противный запах. Я небрежно поклонился в сторону сидевшей женщины, поднял высоко голову и заявил Толяку:

— Мне нужно с вами говорить на четыре глаза!

Тот стал мотать своей хитренькой мордочкой и опять замямлил:

— Это зачем, что такое? Впрочем, извольте, перейдем в другую комнату, вот сюда,—показал он мне рукой дверь направо.

Я двинулся в этом направлении и, проходя мимо дамы, заглянул на беспомощное произведение толяковой плоти.

«Замухрышка гаденький, а жена какая кислая, обрюзглая, а только год как замужем»,—подумал я про себя и вошел в маленький скромный кабинетик.

Толяк несколько задержался в прежней комнатке, должно-быть, служившей гостиной, потом вошел ко мне, немного взволнованный, и произнес:

— Садитесь, Ско-ий!

— Нет, спасибо, я буду разговаривать стоя,—отвечал я резко.— Вам известно, что отец мой имеет намерение перевести меня из этой гимназии в другую, совсем в другом округе?— спросил я его сухо.

— Да, известно,— промямлил он.

— Ну, а вот это вами написано?— громко проговорил я, вынимая из бокового кармана своего кителя красные листочки и выкладывая их перед Толяком на стол.

Тот пригнулся к ним, глаза его забегали, он заметно побледнел. Я пристально стал следить за ним: губы у него зашевелились, не издавая никакого звука, он долго не мог поднять голову, потом боязливо взглянул на меня и произнес:

— Да, я писал,— и опять опустил глаза и голову.

— Что же вы думали, что это так вам и сойдет с рук: он, мол, уедет, а там ему за это будет не солоно, вот и все,— говорю я ему.

— Это мой долг, моя обязанность, как классного наставника, было сделать выписки из журнала, согласно приказанию директора,— проговорил он, изредка бросая на меня боязливые взгляды.

— Ну, а эту заключительную характеристику вы тоже должны были написать?— язвительно произнес я, переворачивая последний листик окончанием вверх.

Тот стал дрожать, как заяц, зашевелил губами, стал меняться в лице и начал-было приглушенно:

— Какое право требовать отчета вы...

Но я не дал ему договорить и перебил его.

— Вот, что: знайте, если меня в другую гимназию теперь из-за вашей аттестации не примут, я не уеду отсюда и посчитаюсь с вами по-своему!— резко проговорил я, подняв в правой руке палку и помотав набалдашником перед носом совершенно оторопевшего и попятившегося педагога.

— Вы смеете угрожать мне...— залепетал он.

— Да, смею и повторяю, что будет плохо тогда,— проговорил я, повернулся и пошел вон, не попрощавшись, но не через гостиную, а прямо в другую дверь.

Толяк выскочил за мною в прихожую, но я уже выходил на лестницу, обернулся к нему, остановился, стукнул несколько раз наконечником палки о порог и проговорил:

— Помните, что я вам сказал!— потом стал быстро спускаться по ступенькам. За мною громко захлопнулась дверь.

Когда я вечером рассказал обо всем Столбиной, она только громко хохотала и хвалила мою храбрость, но по ее поведению я еще больше убедился, что имею дело с легкомысленной девочкой, хотя и имею-

щей уже больших детей. На извещение о возможности моего отъезда она слегка закусила губы, а потом стала предаваться своим поцелуям, как ни в чем ни бывало.

Я стал теперь чаще уходить один в лес и на горы: прелесть созерцания становилась мне понятной.

Недели через две, в середине июля, приехал отец, как будто несколько изменившийся, как мне показалось, более холодный ко мне, чем раньше, деловитый и озабоченный.

— Ну, ты, вероятно, знаешь, что Дума государем распущена,— произнес нервно отец.

— Как, что, почему?— залепетал я с удивлением.

— Это был сброд революционеров и жидовских наймитов! Вздумали принудительно отнимать у владельцев землю. А когда царь на это не пошел и всех их разогнал, то они поехали в Финляндию и написали прокламацию к народу, с призывом не платить податей и не давать солдат. Это изменники родины! Это не Дума, а гнездо крамольников!— закончил гневно отец.

Я стал по порядку раскладывать сообщения отца и не знал, как к ним относиться.

— Ну, у вас что нового? У тебя, как живешь? Ты что-то очень бледен, какой-то желтый стал,— заговорил опять отец, пристально разглядывая меня.

— Я, папа, тебе расскажу все о себе, пойдем погуляем по аллее»— предложил я.

Он охотно согласился, и мы вышли. Я с жаром стал говорить ему о своей любви, о том, что я за это время перечувствовал. Отец ухмылялся и слушал внимательно.

— А ты не боишься, что муж тебе шею накостыляет?— спросил он.

— Нет, папа, ведь я перед ним не виноват. Я только целовал ее, я считал, что раз она чужая жена, так я не имею права...— замялся я на последних словах.

— Ведь ты мне сам говорил, что так нельзя, что это преступление, что супружеский союз есть святыня,— продолжал я, заглядывая отцу в глаза, как бы ожидая от него одобрения и подтверждения его прежних слов.

Он стал искоса разглядывать меня, как бы соболезнуя изможденности моего лица, потом смутился, стал избегать моего взгляда и через минуту промычал:

— Ну да, ну да, конечно; ну, а как у тебя с Толяком обошлось дело?— перевел отец разговор.

Мне даже обидно стало, что прежняя тема обрывается, но отец задел мою слабую сторону, и я рассыпался в передаче своего разговора с поганым педагогом.

— Ловко, прекрасно, не уступаешь своему отцу!— стал хвалить он меня.

— Ну, теперь послушай, что у меня с тамошним директором вышло дальше. Перед самым отъездом сюда захожу в гимназию. Директор встречает меня уже как-то милостивее: служил ли причиной тому мой резкий разговор с ним в прошлый раз, или Толяк успел после твоего наскока что-нибудь благоприятное туда написать,—не знаю, только директор начал вилять сначала хвостом, говорит, что все зависит от педагогического совета, а потом вдруг бросает мне такую фразу: «Все бы это, знаете, еще было ничего, но мы опасаемся того, что ваш старший сын революционер, а это элемент опасный».

От этих слов отца я оторопел.

— Папа, что это он говорит!—вскричал я.—Я—революционер?!—каким-то буравом стала ввинчиваться в мое сознание парадоксальная мысль.

— Вот то-то и дело, что и я вскричал от слов директора, отрицая этот поклеп. Но тот не сдавался. Тогда я ему громко заявил: «Если сын мой, старший, не будет принят в вашу гимназию, то знайте, что я вам пущу пулю в лоб!» —потом резко повернулся и ушел из гимназии, не попрощавшись с этим буквоедом.

«Так, так, думаю, — что это он выдумал? Я люблю порядок, нигде не выношу неправды, я бесстрашно стою за законность, а тот меня окрестил революционером!»—продолжал недоумевать я в душе.

— Ну, это дудки, что не примут тебя. Этого нам бояться не следует. А вот тебе последняя новость: я нашел, наконец, образованную даму, очень интеллигентную, с аристократической фамилией, знающую превосходно новые языки и музыку; она согласилась быть гувернанткой в нашем доме, воспитательницей для малышей и хозяйкой. Сейчас она поджидает нас в Риге: проездом мы ее захватим и повезем с собой. Я так рад этой находке, это настоящий клад в моем положении! — воскликнул отец.

При последнем извещении я пристально стал вглядываться в его лицо, и его чужесть в отношении ко мне с этой минуты стала еще резче мною чувствоваться.

— В неделю нам необходимо собраться и выехать отсюда, — проговорил отец, когда мы возвращались с прогулки и подходили уже к нашему дому.

Я простился с ним и побежал к Столбиной.

Всю неделю, пока шла упаковка и сборы в дорогу, я продолжал с нею видеться и испытывать ужасные мучения от предстоявшей разлуки. Она была спокойна, шутила, говорила, что я ее скоро забуду, моментально сойдусь в новом городе с какой-нибудь гимназисткой и влюблюсь в нее. Я молчал, хмурился, а иногда в темноте гостиной незаметно для нее плакал. В день разлуки я не выдержал и долго ей рассказывал, как я ее люблю, как мучусь, описывал ей свои переживания, говорил, что не выдержу и приеду назад, умолял писать мне. Ее прохладное отношение тоже сменилось теплотой, она мне отвечала, обнимая, что сама удивляется, как, несмотря на такую разницу в летах и в положении, она привязалась ко мне и привыкла, тогда как в прошлом, уже будучи замужем, имела массу поклонников и швыряла ими без разбору. Расставаясь с нею, я рыдал, сознавая, что никогда никого уже не полюблю, а ее буду любить всегда.

На следующее утро мы отправились всей семьей в экипажах на станцию. Я прощался с этими чужим для меня городом, перебирая в своей памяти все воспоминания о коротенькой, но полной не забываемых впечатлений своей жизни в нем; я прощался с городом, в котором проснулось во мне впервые сознательное отношение к действительности, в котором началась (как, хорошо и правильно ли, я не знал тогда) моя юность. Дорога стала итти по холмам. При повороте направо за высокой горой вдруг скрылся из глаз моих город, весь как-то сразу, и пошел лес, красивый, темный, сосновый.

«Брынский», подумал я про себя.

Грусть и тоска по Столбиной с каждой верстой все больше начали овладевать моей душой. Наконец, достигли вокзала.

Свистки, гудки, звонки, стук чугунных колес,—и потянулись опять те же города, которые мы проезжали четыре года тому назад, когда ехали в Польшу из Балтийского края, только в обратном порядке. Отец подтрунивал над моей тоской, предлагал в шутку высадиться и ехать обратно, а сам, по мере приближения к Балтийскому краю, становился все бодрее и веселее. В Риге, моей старой средневской родине, на вокзале к нам примкнула дама, уже немолодая, очень некрасивая, с льстивым, заискивающим лицом. Отец представил меня ей и сказал, что это наша гувернантка; я вежливо пожал ей руку. Она стала целовать детей; поезд тронулся, и мы поехали дальше к месту новой службы отца, в один из губернских балтийских городов.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
Предисловие	3
Глава первая	5
Глава вторая	10
Глава третья	23
Глава четвертая	37
Глава пятая	51
Глава шестая	73
Глава седьмая	91

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. МОСКВА.

БЕЛЛЕТРИСТИКА.

Келлерман, М. Море. Стр. 223.
Лондон, Дж. Белый Клык. Стр. 231.
« « Приключения рабочего патруля. Бог его отцов. Стр. 246.
« « Мои скитания. Стр. 204.
« « Голос крови и др. рассказы. Стр. 229.
« « Морской волк. Стр. 321.
« « Как я стал социалистом. Стр. 84.
Ляшко, Н. Рассказ о кандалах. Стр. 27.
Леруа-Скотт. Секретарь профессионального союза. Стр. 438.
Ноульс, Д. Два месяца в лесах. Стр. 156.
Никитин, Н. Рвотный форт. Изд. 1922 г. Стр. 297.
Свирский, Г. Вечные странники. Записки комми-вояжера. Стр. 76.
Сенкевич, Г. Сенька-Воробей. Степан-Бублик. Егорушко-Ротозей. Отроки, невинно убиенные. Стр. 24.
Синклер, И. Сильвия. Стр. 273.
« « Машина. Стр. 273.
Орешин, П. Корявый. Рассказы. Изд. 1922 г. Стр. 128.
Шкелев, И. Человек из ресторана. Стр. 152.

ПОЭЗИЯ.

Антокольский, Н. Стихотворения. Стр. 42.
Бальмонт, К. Революционная поэзия Европы и Америки. Стр. 57.
« « Песня рабочего молота. Стр. 30.
Бедный, Д. Отцы духовные. Стр. 107.
« « Читай, Фома, набирайся ума. Для юных грамотеев. Стр. 64.
« « О Митьке-бегунце и его конце. Стр. 39.
Брюсов, В. Дали. Стихи. Стр. 87.
« « Кругозор. Избранные стихи. (1833-1922.) Изд. 1922 г. Стр. 331.
Верхарн, Э. Полное собрание поэм. Т. II. Перевод. Г. Шенгели. Вечера. Разгромы. Черные факелы. Стр. 78. Полное собрание поэм. Перевод. Г. Шенгели. Т. VI. Многообразное сияние. Стр. 65. Черные факелы. Перев. В. Федорова. Стр. 41. Стихи. Перев. В. Федорова. Стр. 128.
Герасимов, М. Железное цветение. Стихи. Изд. 1923 г. Стр. 127.
Доль. (Красное жало.) История Красного Октября. Сатира в стихах. С рисунк. С. М. Маклецова. Стр. 64.
Есенин, С. Избранное. Стихи. Стр. 113.